

Литературный ОМСК

№ 14 – 15
ДЕКАБРЬ 2010

Литературно-художественный и общественно-публицистический журнал

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС55-1932-Р
от 5 мая 2008 года

Подписано в печать ??.12.2010 г.
Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура «LiteraturnayaС»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0. Уч.-изд.л. 12,0. Тираж 300 экз.
Заказ № 104
Отпечатано в типографии ИП Слободских М.К.:
644116, г. Омск, ул. 36-я Северная, 5/1

Министерство культуры Омской области
644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 22
www.sibmincult.ru press@sibmincult.ru

Омская областная общественная организация
Союза писателей России,
644043, г. Омск, ул. Достоевского, 1

УЧРЕДИТЕЛЬ ИЗДАНИЯ:

Министерство культуры Омской области

РЕДАКТОР

О.Н. Клишин

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

М.А. Безденежных
В.Ю. Ерофеева-Тверская
С.Н. Прокопьев
А.В. Ремизов
Т.Г. Четверикова

КОРРЕКТОР

Н.Ф. Шестова

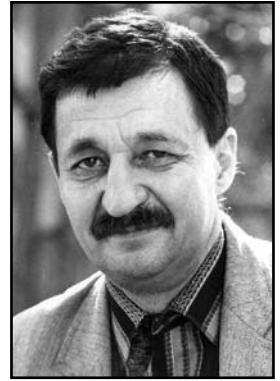
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЁРСТКА

М.К. Слободских

Содержание

проза			
<i>Юрий Виськин</i> Солнце и Ночка Рассказ	3	<i>Дарья Серенко</i> Тишина вымывает звуки...	66
<i>Алексей Кривдов</i> Два рассказа	18	<i>Альбина Соляник</i> От высоко летящих в небе стай...	80
<i>Татьяна Стрельцова</i> Тевризские сказки	36	<i>Валентина Ерофеева-Тверская</i> Берёзовые сны	82
<i>Анна Ведерникова</i> Рассказы	54	так было	
<i>Евгений Даниленко</i> Рассказы	69	<i>Александр Лейфер</i> Три школьных здания энд «Жара»	88
<i>Виктор Власов</i> Рассказы	85	наши имена	
поэзия			
<i>Марина Безденежных</i> Повод для песни	14	<i>Геннадий Великосельский</i> Homo incognito К 70-летию Аркадия Кутилова	92
<i>Андрей Фролов</i> Кажется, я не умру никогда...	16	<i>Олег Клишин</i> Возвращение памяти К 80-летию Геннадия Шмакова (24.09.1930 – 03.09.2002)	100
<i>Галина Целищева</i> Этим ветром, этим сном...	31	«Затушив прошедшей жизни пламя...»	106
<i>Мария Четверикова</i> Ходит по небу троллейбус небесный...	34	Владимир Макаров (09.09.1938 – 22.07.2010)	
<i>Светлана Курач</i> И, как листья, взметнутся слова...	49	книжная полка	116
<i>Андрей Козырев</i> Среди звёздного света...	52		
<i>Станислав Домбровский</i> Концерт для гравия и луж	64	На первой странице обложки: Иван Коротков. Знакомый парень. 2004. Холст, масло. 100x120. На четвёртой странице обложки: Иван Коротков. Путники. 2005. Холст, масло. 150x200.	

Юрий Виськин



Солнце и Ночка

Рассказ

1

Это было настолько неожиданно, что он замер на месте, и его два раза подряд толкнули шедшие сзади, а потом толкали ещё, но он продолжал стоять, в оцепенении глядя на экранчик сотового телефона, где на голубоватом светящемся фоне чернели буквы сообщения, всего два слова. Телефон не подавал сигналов, стоял на «бесшумном», и достал он его только затем, чтобы узнать время, а тут, оказывается, вон оно что! Верить ли своим глазам? Правда ли это?

Он наконец опомнился, поднял взгляд на людей, идущих на него и от него меж двух рядов пестрящих разноцветной одеждой торговых палаток (левый ряд в тени, правый — на солнце), сунул телефон в карман и пошёл, высматривая впереди, среди людей, коричневое пальто жены, всё думая: «Но как же так? Неужели...». И вместе с тем ощущая прилив радости, волной накатывавшей изнутри; радость придавала ногам лёгкости, а дыханию глубины, отчего сразу обострились все чувства; ярче заиграли краски вокруг, гуще заголубело небо в редких хрустально-прозрачных облачках, чётче заискрило солнце в лужицах на асфальте, а воздух посвежел ещё больше; в его сложный запах тающего льда, выхлопных газов и мокрых ветвей на несколько мгновений резко ворвались ароматы парфюма из проплывшего мимо контейнера со множеством сверкающих флакончиков. В груди у него пело: «Мне хочется ласки и тёплого слова, мне хочется женской горячей любви...». Он смаковал этот момент тревож-

ного ожидания, хотел продлить его подольше, не собираясь пока слать ответ и не обольщая себя надеждой, мысленно повторяя: «Да это, может, просто по ошибке... случайно...». Он уже нагнал жену и живо, с пробудившимся ко всему интересом спрашивал, куда бы она хотела двинуть сначала, к женским плащам в китайский ряд или к курткам в кавказский, — но внутренне жил совершенно другим, умудряясь с одинаковой ясностью пребывать и здесь, сейчас, и там, в прошлом годичной давности, когда такой же весною шёл по рынку, не по этому «Торговому городу», а по тому небольшому, что у них на Новосёловке, шёл один; сигнал телефона был включён, в кармане время от времени звучала мелодичная трель; он доставал его, останавливался, читал сообщение, тут же набирал и отправлял своё, и вереница эсэмэсок всё удлинялась и удлинялась.

Первотолчком её был телевизор, точнее музыкальный канал, где в основном показывали клипы, а на их фоне в нижней части экрана почти всегда чернел прямоугольник с белыми, то и дело меняющимися строками сообщений мобильной связи от телезрителей, на удивление однообразных: молодые люди предлагали девушкам знакомства для интимных отношений (и/о), девушки искали знакомства с состоятельными мужчинами, имеющими авто, кто-то изъявлял готовность обеспечить ласками даму средних лет, кто-то приглашал к себе девушку... Попадались и желающие познакомиться для серьёзных отношений, но таких было немного. Переключая каналы, он иногда задерживался на этом и читал эсэмэски, надеясь, что среди них появится то, что он давно и безуспешно искал в газетных объявлениях службы знакомств: ему хотелось познакомиться с женщиной, такой же, как и он, семейной, и такой же внутренне одинокой. Он знал, что это возможно: замужние женщины иногда давали объявления, и он даже как-то раз звонил в службу знакомств по поводу одного из них, но ничего не получилось.

ВИСЬКИН Юрий Петрович родился в 1953 году. Окончил Омский политехнический институт и Высшие литературные курсы в Москве. Печатался в газетах, коллективных сборниках Омска и Москвы, в журналах «Сибирские огни», «Литературный Омск», альманахе «Иртыш» и еженедельнике «Литературная Россия». Автор двух книг прозы. Член Союза писателей России.

Внутреннее одиночество с годами угнетало его всё больше и больше, и не было от него никакого избавления. Даже просто поговорить по душам ему было не с кем. Он был женат уже двадцать два года, женился ещё студентом, когда учился на четвёртом курсе политехнического института. Она была штукатуром-маляром, ей было всего семнадцать, когда они познакомились. Привлекла его в ней (а верней затянула) цветущая пышнотелость — то, что в ту пору казалось ему едва ли не самым важным качеством в женщине. Она не была высокой и крупной, как раз наоборот, небольшого роста, но пышность, крепкость, деревенская дородность (она и приехала из деревни) были при ней и пришлись ему по нутру сразу (плюс густой крепкий румянец на миловидном лице, и эти нежные светлые колечки, так славно падавшие на лоб из-под белой рабочей косынки). Её звали Даша, она только-только окончила профтехучилище и трудилась в строительно-монтажном управлении, которое как раз вело отделочные работы в доме, строившемся для преподавателей, куда их, студентов, пригнали на помощь. Он помогал замешивать штукатурку, подавал на козлы тяжёлые вёдра, а она, ловко, с видимым удовольствием и даже любовно орудуя шпателем, без умолку говорила, то и дело игриво косясь на него и звонко всхлывая своим собственным словом, и эта живость, непосредственность, пусть и с оттенком глуповатости (не только в словах, но и в глазах, во взгляде, чего он совершенно не желал замечать), эта легкость в общении тоже пришлись ему по душе; ужасно хотелось продолжить знакомство, хоть друзья сразу же и посмеялись над ним, а один даже сказал на ухо: «Да ты что, Костян? Такая искренняя простота чревата... э-э...». Он осёкся, наткнувшись на его взгляд, и уже без улыбки добавил: «Впрочем, дело твоё... Всё, наверное, поправимо, если всерьёз...». А он и впрямь влюбился и стал с ней встречаться, и ему без разницы была её глуповатость и то, что из всех видов искусств её прельщали только индийские фильмы, а из книг она читала лишь поваренную; он был уверен, что и это поправимо, и через полгода, когда ей исполнилось восемнадцать, они поженились и сразу въехали в отдельную комнату общежития того СМУ, где она работала. Жилищную проблему изначально ликвидировала её профессия: когда через год родилась дочь, они въехали в новую двухкомнатную квартиру, а рождение через четыре года сына было ознаменовано переездом в трёхкомнатную.

Проблема постепенно выявилась другая: абсолютная неспособность Дарьи понимать людей, какая-то чудовищная внутренняя омертвелость,

не позволявшая ей даже в сколь-нибудь мизерной степени реагировать и откликаться на чувства ближнего. Это, пожалуй, не было ни эгоизмом, ни чёрствостью, просто некая отстранённость от всего и вся, что есть вовне, была заложена в ней изначально, а он не понял, не заметил этого сразу, да и мудрено было заметить при той его слепоте от влюблённости; потом уж со всё большей отчётливостью стало открываться ему это её существование по своим собственным внутренним принципам, простейшим, но делавшим её недоступной ни для какого душевного контакта. Нередко возникало у него ощущение, что, находясь рядом, иногда даже и разговаривая с ним, она пребывает здесь лишь частично, тем, что можно видеть: лицо, руки, ссутулившаяся спина, когда она, например, сметает с пола в совок мусор; а всё остальное, главное, что предполагал он в ней когда-то и что отличает человека от всего прочего живого: интерес, участие, чувство единения и так далее, — невесть где, и от этого на душе у него становилось тоскливо и пусто. А она и действительно никогда не слышала его, не слушала (и не из-за рассеянности: ни на лице, ни во взгляде её никогда никакой рассеянности он не замечал, взгляд её всегда был осмыслен, более того, в его тускнеющем со временем блеске странным образом постепенно словно пропадала, терялась прежняя глуповатость), и часто бывало так, что она начинала говорить после каких-нибудь его слов, отвечая не ему, а себе, тому, о чём только что думала. Он мог с уверенностью сказать: хоть это качество и было заложено в ней природой, но в первые годы их жизни всё-таки имело место лишь в малой степени, а обострили и многократно усилили его в ней те «перестроечные дела» девяностых годов, когда оба они перестали получать зарплату (его завод, где он работал начальником участка, остановился, а её СМУ больше не получало заказов на строительство), а сыну было всего два года, да и шестилетнюю дочь надо было чем-то кормить, а в доме ни крошки, и он метался по городу в поисках любого приработка, искал, у кого бы занять хоть немного денег, и всякий раз, возвращаясь домой, заставлял её сидящей у телефона в ожидании звонка из своего СМУ. Иногда она сидела в обнимку с детьми, но и тогда и лицо, и взгляд её были неподвижны. Он пытался расшевелить её, она не отвечала, и только иногда, со вздохом, ни к кому не обращаясь, говорила: «Работы бы... Только бы работы... Скорей...». А потом ещё и Олежка, сын, заболел, то ли от плохого питания, то ли ещё от чего. Временами исходил криком, ненадолго умолкал и лежал, пугающе-белый, с синюшными полукружьями под глазами, и на глазах

слабел, слабел... Участковый врач не знал, какой ставить диагноз, направлял в больницу, но Дарья отказалась: «Там, боюсь, точно не выживет...». Вызвала мать из своей деревни Сухановки, та приехала со знахаркой, и они почти две недели выхаживали Олежку какими-то травами, снадобьями. Выходили. Константин тогда чуть не сутками торчал на товарной станции вместе с такими же, как и он, оставшимися без работы, ждал вагоны, потом — своей очереди, потом разгружал мешки с сахаром и мукой. Надорвал поясницу, вкалывал, преодолевая боль, но всё необходимое покупал. И снова Дарья сидела у телефона, неподвижно глядя перед собой, изредка повторяя: «Работы бы...».

Работа со временем появилась, потом пришёл и её избыток, потому как строительство оживилось, город начал обрастать подъёмными кранами, повсюду строили жильё на продажу, и простое, и дорожщее элитное; она стала хорошо зарабатывать, но бывшая весёлость, так славно украшавшая её лицо в юности, больше к ней не вернулась, осадок тех гиблых лет, похоже, ничем нельзя уже было счистить с её души, и жизнь Константина Емельянова превратилась в довольно-таки унылое пребывание на этом свете, особенно если учесть, что у него-то с работой ничего не менялось, завод по-прежнему стоял, правда, руководство не возражало против того, чтобы работники, продолжая числиться на нём, устраивались временно в какие-нибудь другие места. Он и устроился — ночным сторожем в детский садик. Зарплата — слёзы, жена зарабатывала неизмеримо больше, это мешало ему ощущать себя главой семьи, да он ею уже по сути и не был: с появлением денег Дарья повела себя полной хозяйкой во всём — с того момента, когда он, чувствуя облегчение от вида пачки купюр, выложенной ею на стол, сказал: «Ну вот, мы, похоже, и выкарабкались! Знаешь, что? Сготовь-ка тефтели! Можно, я думаю, и сухого винца взять. Давай-ка, я схожумагазин...». Она ворчливо ответила: «Нужны они, тефтели. Никто их, кроме тебя, не ест». Он удивился: «Как так? Ты, наверно, забыла. Это же было наше фирменное блюдо!». «Для тебя, — ответила она, и только он открыл рот, чтобы возразить, резко осекла: — Ладно! Разберусь, что сготовить! И без винца обойдёшься...». Потом было и хуже: упрёки («Что ты за мужик, не можешь нормальной работы найти!»), напоминания о том, что квартиру получала она и квартиросъёмщица тоже она («Могу тебя и выписать!»), — но тот случай с тефтелями, первый выплеск новоявленной зловредности, запомнился особо. Сильней ударил только «ремонтный эпизод».

Она взялась регулярно, не реже одного раза в полгода, делать в квартире ремонт. Денег теперь хватало даже на самые дорогие обои, краску, белила... Что-то она приносила и с работы. Понятно, ремонт ей был в удовольствие, она по-прежнему любила свою работу, с тем же удовольствием ходила на неё; ни разу не видел он на её лице усталости, когда она возвращалась, напротив, лицо её светилось довольством, как если бы она неплохо развлеклась и отдохнула. И всё же он не мог взять в толк: делать ремонт чуть не каждый квартал... Зачем? Однажды он ей высказал: «Ещё клей под теми обоями не высох, а ты уже новые лепишь!». Она ответила со злостью: «Не твоего ума дело!». А на следующий день, когда он вечером пришел домой (был редкий случай, когда на заводе временно появилась работа), то увидел, что в его комнате нет обоих самодельных стеллажей с книгами. На вопрос, куда они делись, она спокойно и холодно ответила: «Тебе не нужен мой ремонт, а мне не нужны твои книги». Он онемел, смотрел, как она, стоя на табуретке, выдавливает на стену из большого тюбика белый червяк шпаклёвки, слышал её негромкий голос: «Это когда-то на книги была мода, считалось красиво... А теперь такой моды нет...». Он долго не мог вымолвить ни слова, потом заорал: «Где они?! Где книги? Куда ты их дела?!». Она не ответила. Он крикнул: «Мне нужны они, пойми! Нужны!». И повернулся к Маше, дочери, которая шпаклевала противоположную стену: «Ну ты-то хоть скажи! Ты же должна понимать... Неужели тебе тоже не нужны книги?». Дочь, не оборачиваясь, пожалала плечами: «А мне-то они зачем?». Он вновь онемел. Ему показалось, что и эти слова произнесла жена, до того были похожи и голос, и тон.

Дочь работала с женой в одной бригаде, она не оканчивала училище, просто после девятого класса пошла ученицей к матери, быстро освоила профессию, и теперь они и на работе, и дома, да и везде были вместе. Они даже и внешне стали очень похожи. Из-за молодости Дарья трудно было поверить, что это мать и дочь. Сходство их лиц многих наталкивало на мысль, что они сёстры, другие думали — подруги. Они были одного роста, одной комплекции (Маша быстро, годам к восемнадцати, догнала мать по пышнотелости), плюс одевались едва ли не идентично: летом — простенькие платья бесформенного покроя, зимой — одного цвета пальто с цигейковыми воротниками, весной и летом — пальто демисезонные, уже разного цвета, но покроя опять же одинакового. И неизменные платки, которыми они закутывали головы, завязывая их сзади, зимой — толстые шерстяные, весной и осенью — из материала

полегче. Когда они шли рядом, обе дородные, шагающие неторопливо, уверенно, с лёгкой раскочкой, их можно было принять за сельских жителей, по какой-то надобности приехавших в город. Но это бы ладно, Константин никогда не придавал особого значения одежде, их внешний вид его не коробил, — но откровенно со временем солидарное их отношение к нему, — не то чтобы враждебность, нет, скорей покойное равнодушие с лёгкой примесью презрения, как если бы он был для них не отцом и мужем, а, к примеру, нерадивым квартирантом, — это он переносил с трудом. Но, как ни пытался что-то изменить, ничего не получалось: они его и слушать не хотели. И не слушали. Так и не добился он от Дарьи ответа, куда она девала книги. После того случая, глубоко уязвлённый, он думал: наверное, пора что-то решать. Видно, уходить надо. Но — куда? И на что жить, когда работы по сути всё так и нет. Дурацкое положение: и уволиться нельзя, чтобы стать на учёт на бирже труда и получать пособие по безработице, и постоянной зарплаты нет. Есть только долг предприятия, который приходится сообщать с другими заводчанами выжимать через суд. Где-то раз в квартал, а то и в полгода удавалось выбивать по некоторой, не шибко-то большой сумме. Конечно, если бы Дарья напрямую гнала его, он бы ушёл, приткнулся б на время у матери, а там, глядишь, и нашлось бы что-нибудь. Он даже специально сходил к матери — предупредить на всякий случай, чтоб неожиданностью не было; мать уже четыре года после смерти отца жила одна, место у неё нашлось бы, да только предупредить её не получилось: в гостях у неё как раз был старший брат, и при нём он не стал ничего говорить. Зато совершенно неожиданно узнал, что оба они, и он, и брат, — крещёные. Это обрадовало, ведь он много раз думал: может, потому всё и получается так нескладно, что не крещён, и надо бы креститься. «Бабка вас обоих, — говорила мать, — сначала тебя, Иван, потом тебя, Костя, втихаря носила в церковь... А мне сказала только перед смертью». После этого Константин стал при случае заходить то в Никольский собор, то в часовню, ставил свечки, читал про себя красиво написанную на дощечке у иконостаса молитву... А матери так и не сказал, что, возможно, придётся пожить у неё. Дарья, вопреки его предчувствиям, не гнала его. А сам он, как ни тяжело было, уходить пока не хотел: какая-никакая, а всё же это была его семья. Ну, и сын ведь ещё был, Олег, совершенно не такой, как они; правда, и не такой, как он, на него похожий только лицом, а в остальном — ничего общего: какой-то апатичный, вялый... Как купила ему Дарья к тринадцатилетию компьютер,

так и играл он на нём всё свободное время уже третий год.

Вот с такими жизненными итогами подошёл Константин Емельянов к тому моменту, когда стал читать эсэмэски музыкального телеканала.

2

Однажды в один из дней узаконенного безделья он сидел дома один перед телевизором, от нечего делать переключал каналы и, задержавшись на музыкальном, вдруг прочитал среди штампованных сообщений одно, заставившее немедленно взять ручку и записать на полях газеты номер сотового телефона. Он стоял после слов: «Женщина 35 лет, замужем, ищет человеческого общения. Только SMS».

Оторвав край газеты с номером, он тут же сходил к себе в комнату, взял свой сотовый телефон (бэушный, купленный за бесценок на специально выделенную завкомом материальную помощь — единственно для того, чтобы в случае необходимости, если вдруг нагрянет работа, начальство могло найти его в любой момент). Понажимав кнопки, написал на экранчике: «Привет!». И отправил. Минут через пять телефон тренькнул, и он прочитал: «Привет! Я Анна, симпатичная, жгучая брюнетка. Хочется доброго человеческого общения, а не скотского и/о».

У него радостно дрогнуло и потеплело под горлом, он впервые за долгое время улыбнулся и стал набирать: «Солидарен, был бы рад знакомству с серьёзной умной женщиной. Константин».

Она ответила: «Я с чувством юмора, неглупая, не стерва, устала от однообразия».

Его удивило, как просто и точно сформулировала она то, чему не находил определения он. «Усталость от однообразия». Да, да, именно это же было и у него...

Так завязалась эта телефонная переписка. Пулемётные очереди эсэмэсок размётывали однообразие. Усталость стремительно утекала, оставляя место бурно прибывающей энергии. Сначала она коротко, в общем, рассказала ему о себе, а он ей — о себе. У неё двое детей, от первого брака — шестнадцатилетняя дочь и от второго — сын шести лет. Муж подполковник милиции, служит на Чукотке, откуда она вернулась полтора года назад (смогла выдержать там только год). «Последний раз он был здесь девять месяцев назад, — писала она, отвечая на его вопросы. — А через полгода, в октябре, вернётся насовсем. Он деспот, но любит меня. Любовь у нас однобокая, только с его стороны. Да, с первым разошлась, потому что пил, ещё и бил. И у этого рука тяжёлая, я боюсь его. Живу с ним только ради сына».

А потом:

«Усел фундамент, крепок дом, а то, что понято с трудом, то нам дороже...».

«Браво! Сама?»

«Я ещё и вязать могу, и крестиком вышиваю, и вообще я королевишна хоть куда, в полном расцвете сил. Шутка. Ты как к юмору?»

Но порой от неё летели нотки тоски и даже отчаянья: «Так всё опостылело, и эта работа менеджерская, жить не хочется». Он писал: «А ты подумай и увидишь: хорошего в жизни куда больше, чем плохого».

«Спасибо, — отвечала она, — я уже дома, настроение классное, жизнь прекрасна и удивительна!»

Раз написала: «Жизнь разбита пополам, хрупкое стекло, — для решения ошибок время истекло».

Он призвал на помощь давний студенческий опыт сочинения рифмованных строк для поздравлений и ответил: «Но взгляни вокруг скорей, солнцу улыбнись, удивительно светлей станет твоя жизнь!».

Ему тут же прилетело: «Солнце ты золотое! Оживляешь и греешь!».

Она так и стала называть его — Солнце. А он, памятуя о том, что она жгучая брюнетка, называл ее Ночкой.

Потом были ещё какие-то рифмованные строки и её: «С тобой очень интересно общаться!».

Были и настоящие стихи. «Люблю рубаи Омара Хайяма, — писала она. — «Пусть буду я сто лет гореть в огне, не страшен ад, приснившийся во сне; мне страшен хор невежд неблагородных, — беседа с ними хуже смерти мне». Здорово, верно? И как он прав: вокруг столько озабоченных мужиков, с ними не о чем говорить! А ты знаешь Хайяма?»

«Мне больше нравятся «газели» Джами».

«Возможно, я колхоз, но не читала!»

«Я тоже в этом не очень-то разбираюсь, тем более, что и книг у меня больше нет».

«Куда же они делись?»

«Долгая история, при встрече расскажу. Пойдёшь со мной в театр?»

«С превеликим удовольствием! Ты ведь пригласил в театр, а не в баню или гостиницу».

Он отправлял и читал эсэмэски дома, на улице, в магазине — везде, где только бывал. Переписка длилась почти два месяца, до середины мая. Ему приходилось занимать деньги на телефон, но потом неожиданно позвонил институтский друг и сказал, что один знакомый из фирмы по поставкам сварочного оборудования попросил узнать, нет ли свободного специалиста среди его

коллег, инженеров-сварщиков... Константин уволился с завода и из детского сада и устроился в эту фирму. Ему положили приличный оклад и сразу выдали аванс.

Тогда-то он впервые и вышел на прямую связь с ней.

— Аня, — сказал он, прижимая к уху свой сотик, — это Костя. Привет.

— Ой, Солнце! — обрадовалась она. — Куда ты пропал?

— Были кой-какие дела. Ну, так как насчёт театра?

— А можно. Только скажи — когда?

И вот он ждал её возле городского театра-студии. Солнце хоть и клонилось к закату, но светило ещё ярко, отблескивая в окнах громадной девятиэтажки через дорогу, в витринах прилепившегося к ней внизу магазинчика и в стеклах киоска «Роспечати» на остановке по другую от дороги сторону, куда должна была подъехать она. Он волновался, боялся не узнать её. На всякий случай подошёл к стоявшей здесь же, на площадке, темноволосой девушке и сказал: «Извините. Вы, случайно, не Аня?». Она с улыбкой покачала головой, и ему стало спокойней: сомнения исключены, её здесь нет.

Она приехала не на автобусе, а так же, как и он, пришла пешком от предыдущей остановки у перекрёстка. Он увидел её сразу, как только она появилась из-за старого, но добротного и даже помпезного, с толстыми каменными стойками и железными пиками ограждения сада, прилежавшего к этому зданию бывшего Дворца культуры. Она была, как и говорила, в белом коротком плаще и округлых, слегка тонированных очках. Короткая стрижка чёрных волос, полноватые, но стройные и довольно красивые ноги (немудрено, что от мужиков отбоя нет, подумалось ему чуть позже). Он не верил, что это она, до последнего мгновения, пока она, подойдя ближе, не увидела его и, должно быть, узнав по его описанию и приметам — яркому, в красную полоску галстуку, не сказала тихо и просто, шевельнув губами в мягкой улыбке:

— Это я.

В следующее мгновение они шли к ступенькам крыльца, поднимались по ним и входили в театр, и он, заговорив с ней сразу же, рассказывая, как последние три недели вынужден был вникать в новую работу (домой приходил только к ночи, не знал выходных), — уже не чувствовал волнения, ему стало легко, весело, и вместе с тем какое-то томительно-сладостное чувство наполняло его всё больше и больше с той секунды, как только он вдохнул запах её духов, ощутил исходившие от

неё свежесть, нежность, что-то ещё, таившееся в изящных очертаниях мраморно-белой и необыкновенно мягкой руки с розоватыми облатками ногтей, которой он коснулся, когда она отдавала ему свой плащ у гардероба; в приятном лице с гнутыми бровями, чуть курносый носом и живыми глазами, глядевшими на него сквозь очки открыто и весело; в скульптурно выточенной шее, восходившей от декольте бархатисто-чёрного вечернего платья, — словом, не поддающееся никаким рациональным истолкованиям и описаниям качество, называемое женственностью и почему-то обошедшее жизнь Константина. И это при том, что женщины подобной внешности никогда не были в его вкусе; при любых других обстоятельствах он, скорей всего, даже не обратил бы на неё внимания. Как, наверное, и она на него. Но эти обстоятельства были особенными обстоятельствами, их обстоятельствами, и потому разговор между ними, когда они стояли в театральном фойе среди людей, тёк легко, сам собой; глядя на них, можно было подумать, что они знакомы давно. В сущности, так почти и было, особенно если учесть, что на протяжении всей телефонной переписки они успели не только немало поведать друг другу о себе, но и одновременно прожить период некоего с каждым днём всё более утесняющегося знакомства, переходящего, пожалуй, в заочную дружбу, во всяком случае в их эсэмэсочных отношениях уже случались порой и легкие раздоры, быстро сменяемые примирением, и диалоги с остро взволновывающей начинкой, которые всегда затевала она: «посылаю тебе на ночь лёгкий нежный поцелуйчик» — и которые она же и обрывала: «ну что ты такое пишешь забыл что я одна без мужчины уже целых десять месяцев», и сейчас разговор их был по сути продолжением налаженного общения, перенесённого в иные условия.

А они, эти условия, как нельзя более подходили и ему, и ей: было видно по ней, по тому интересу, с которым она разглядывала разноцветные афиши и фотографии на колоннах и портреты актёров на стенах, насколько она здесь в своей тарелке. Он подумал: «И всё-таки давно, должно быть, не была в театре». Потом оказалось, так и есть: не была несколько лет, как ни хотелось, — мужа тянет только по кабакам. Он-то, Константин, бывал, хоть и ему никогда не удавалось вытащить жену. Институтский друг, не ставший инженером, но ставший журналистом и театральным критиком, снабжал его пригласительными билетами то в один театр, то в другой, он и ходил смотреть спектакли, чтоб окончательно не закинуть.

— Что ж на Чукотке-то не пожилось? — спросил он её, когда уже сидели в зале.

— Честно говоря, и вспоминать не хочется. Ничего почти и не помнится. Разве что зимняя ночь, сплошная, месяц за месяцем... А я люблю день, свет, солнце!

— А ты знаешь, я когда-то мечтал побывать на Чукотке. Мне даже хотелось уехать туда жить. Так и не получилось.

— Ничего не потерял!

— А кем он там, муж-то?

— Заместитель начальника райотдела. Деньги зарабатывает, на новую квартиру.

На них уже шикали, потому что свет погас и медленно начинала освещаться сцена...

Разговор продолжился в антракте, в буфете. Они сидели за столиком и пили кофе, она — с пирожным, он — с бутербродом. Никогда ничего подобного в его жизни не было. Он только в кино видел, как двое вот так же сидят за столиком, что-нибудь пьют и разговаривают. «Тяжко будет с ней расставаться», — подумалось ему.

— Я уже восемь лет возвращаюсь в ментовской среде, — говорила она, — и одно знаю: они деградируют, но считают себя избранной кастой. Это те, кто не сеют, не жнут, но в житницы собирают... Пока он далеко, я живу спокойно. А приедет, всё равно, как напьётся, будет скандалить, руки распускать...

— Даже и без повода?

— Повод для него сам факт, что я без него оставалась.

— А тебе, как ты писала, так хочется пошапо-клячить!

— Ага! — засмеялась она, откусывая пирожное. — Не терплю скуки, серости! — Она посе-рёзнела. — Но с ним — постоянно тоска на душе. Ревнует всё время ужасно...

— Говорят, лучше быть обижаемым, чем обижающим.

— Но, когда тебя обижают незаслуженно, тоже ничего хорошего. Я понимаю, надо молиться за обижающих нас и гонящих, но...

— Как у свекрови-то со здоровьем?

— В больницу положили. Хожу к ней каждый день.

— Ну, ты героиня!

— Для меня помогать — естественно, делать людям приятное — удовольствие.

— Прямо в полном соответствии с учением Аристотеля.

— Раз ты говоришь, наверное... Книги-то куда делись?

— Да-а... Не хочу сейчас об этом. Давай, лучше анекдот расскажу, театральный...

Потом они снова сидели в зале, смотрели второе действие грустной истории о больном маль-

чике одиннадцати лет, жить которому оставалось не больше двух недель, и потому каждый день для себя он считал десятилетием...

— Просто до слёз пробирает! — говорила она, когда вышли на улицу. Было уже темно, горели фонари и светили окна в домах. — Никогда бы и не подумала, что это такой хороший театр... Спасибо, Солнце!

3

Были и ещё встречи. Как-то летним солнечным днём они стояли на набережной у моста, уже вволю нагулявшись и наговорившись. Он опять пьянел от запаха её духов и её волос, от нежности руки, которую держал, пропуская свои пальцы меж её пальцев и бережно их перебирая. В глазах дрожали, искрились, разбегались солнечные блики на зеленоватой рябщей воде, по ней скользил голубой катер с белой рубкой; с реки тянул лёгкими порывами ветерок, обдавая лица сыроватой свежестью. Анна говорила о новой компании, куда собиралась устраиваться (с прежней работы, менеджера по продажам оптового рынка, ушла).

— Сначала мне сказали, сразу дадут полный оклад, а вчера прихожу, говорят: первые три месяца будем платить половину, а потом, если зарекомендуете себя...

— Неправильно! — сказал он с нажимом, поворачиваясь, непроизвольно приближаясь лицом к её лицу и чувствуя, как снова хмельно плывёт голова. — Кхм... У меня... знакомый есть... — Он говорил, глядя на её очки, за которыми из-за солнечных отсветов сейчас почти не было видно глаз. Красиво переливались на солнце короткие завитки её смоляных, свежеподкрашенных волос. — Он в госинспекции работает... так вот... говорил мне... что... даже если испытательный срок назначают, не имеют права платить меньше!

— Да уж теперь найдёшь правду! — махнула она рукой, свободной, не той, которую он держал, а на запястье которой висела чёрная, сверкающая лаком сумочка. — С моим текстильным институтом куда теперь пойдёшь, если вся текстильная промышленность в городе уничтожена? Хорошо ещё, что я экономист: там-то как раз экономист нужен...

— Правоохранительные бы органы на них наравить!

— Бесполезно, я думаю... О, вспомнила! Как сказал про органы, так и... Я ведь фото захватила! Вот, смотри! — Она высвободила свою руку из его рук, открыла сумочку, достала фотографию и дала ему.

На фотографии была она сама, её дочь, уже почти взрослая девушка; её сын, подстриженный

«под чубчик» маленький мальчик в матроске, которого она держала за руку, и... он, её муж, среднего роста смурной коренастый человек в милицейской форме и фуражке.

Константин сразу узнал его.

...В тот день, четыре года назад, шла акция протеста. Санкционированная, законная. Те, кто работал на их заводе, простоявшем уже месяцев восемь подряд, вышли на улицу и очень длинной, казалось, нескончаемой колонной двинулись к центру города. Был такой же летний солнечный день. Шествие должно было закончиться у здания областной администрации, где предполагалось встретиться с губернатором и вручить ему письмо с требованиями и предложениями. Константина выбрали в протестный комитет, он и должен был с двумя начальниками участков из других цехов передать письмо. Когда пришли к новому, недавно выстроенному из белого камня зданию администрации и рабочие начали заполнять площадь, они втроём направились к крыльцу, чтобы пройти к губернатору. Но крыльцо было окружено сверкающими на солнце трубчатыми металлическими ограждениями, выстроенными по дуге, от стены до стены. За ограждениями, на ступеньках крыльца плотным строем стояли в ряд десятка полтора автоматчиков, в камуфле, касках и бронежилетах. Зловеще поблёскивали их поднятые вверх стволы. Подле них, заложив руки за спину, прохаживался подполковник милиции. Вот этот самый, муж Анны.

— Товарищ подполковник, — сказал ему Константин. — Мы уполномочены встретиться с губернатором и передать ему это письмо. Пропустите нас, пожалуйста.

Подполковник остановился близко от Константина по другую от ограждений сторону и, вскинув на него из-под козырька фуражки с красным околышем колючий взгляд небольших, зло прищуренных глаз, негромко сказал:

— Во-первых, товарищ тебе — васюганский волк. Во-вторых! — повысил он голос, вскидывая руку и тем самым предупреждая возражения. — Никто никого никуда пускать не будет. Всё. Свободны.

— Пущать не велено, что ли? — насмешливо сказал один из начальников участка из-за спины Константина.

Константин сделал ему предостерегающий жест рукой и сказал:

— Вы не правы, господин подполковник. Мы не бунтари и не разбойники. Действуем в полном соответствии с законодательством. Можем показать официальное разрешение на проведение акции...

— Ничего мне показывать не надо, — тягуче заговорил подполковник, вновь начиная прохаживаться с заложёнными за спину руками, хмуро и зло поглядывая на стоявших за ограждениями людей. — Пока-азывать они вздумали... Показывайте бабам... Мне нечего...

Дальше он говорил отрывисто, бессвязно, меж его слов то и дело проскакивали слова бранные, произносимые нарочно невнятно, смято, и тем не менее они угадывались, даже и прислушиваться не надо было. Невозможно было пробить его никакими уговорами. Когда стали угрожать пожаловаться начальству, он заговорил громче:

— Можете жаловаться! Куда хотите... оп... Я — подполковник Кубин... гля... Жалуйтесь!

Площадь уже была заполнена людьми. За полчаса времени, отведённого на пикет, надо было успеть передать губернатору письмо. Недовольный гул нарастал, на подполковника орал, костерили почём зря, а он продолжал прохаживаться и тянуть свою волюнку. Но, когда из толпы в него прилетела пустая пачка от сигарет, он мгновенно выпрямился, уставился в ту сторону, лицо его исказила какая-то нечеловеческая ярость. Он повернулся налево, поднял руку, гаркнул что-то нечленораздельное, и тут же из стоявших сбоку от здания бордовых автобусов с непроницаемыми стёклами стали выскакивать «омоновцы», тоже в бронежилетах и касках, но ещё и с резиновыми дубинами и дырчатыми железными щитами. Очень быстро они выстроились в ряд, образовав панцирь на всю ширину здания.

Подполковник стоял теперь за этим панцирем. Он взглянул из-за него на людей, усмехнулся с видом победителя, но и в усмешке его было что-то злое, колючее.

Передать письмо губернатору всё-таки удалось: кто-то дозвонился внутрь здания, из него вышел чиновного вида человек, взял письмо и унёс. Никакого толку от этого, конечно, не было. Вскоре всё и забылось.

Но этого подполковника, бронзоволицего, насупленного, Константин запомнил хорошо. Он ему напоминал какого-то хищного зверька.

— Как его фамилия? — спросил он, глядя на глянцево отблескивающую на солнце фотографию.

— Кубин.

— Стало быть, ты Кубина?

— Нет, я Антипова. У меня девичья фамилия, после развода я её вернула и больше не меняла.

— А где он у нас в городе работал?

— В администрации, охраной руководил. Были у него конфликты, его хотели смещать... Он всегда очень грубо себя вёл...

— Как же так получилось, что ты... с ним...

— Да вот так, — улыбнулась она, и в этой улыбке, как и в голосе, сквозила горечь. — Жил по соседству. Заприметил. Я уж два года как разошлась. А тут от него жена сбежала. Ну он и взялся за мной ухаживать. Всё изливался поначалу, жаловался. Он тогда даже добрым мне казался. Хотя и тогда ничего у меня к нему не было. Но одной, с дочкой... Тяжело было. Надеялась — стерпит... Ладно, что теперь...

Больше о нём, кажется, не говорили до самой последней встречи, хотя его присутствие в жизни, в их жизни, его незримое пребывание между ними ощущалось постоянно, по крайней мере, ощущал его он, Константин, всё более погружавшийся в эти совершенно новые для него чувства, не имевшие ничего общего с той давней влюблённостью в свою жену, ибо чувства эти были скорей тяжёлыми, чем радостными, скорей морально затратными и даже изнурительными, чем одухотворяющими и возвышающими. И всё-таки они были дороги для него, он ни за что не согласился бы с ними расстаться, как бы ни был горек их привкус. Его тянуло к ней, хотелось видеть её каждый день, но видеть приходилось нечасто из-за вновь навалившейся работы: директор фирмы поручил ему обеспечить участие в конкурсе на поставку сварочного оборудования строящемуся крупному железобетонному заводу. «Выиграешь этот тендер — десять процентов от прибыли с операции твоя!» — сказал он. Константин не думал о доходе, думал лишь о том, чтобы не ударить лицом в грязь, и работал каждый день допоздна, мотался по городу и в командировки в другие города, многими часами просиживал за компьютером, выискивая необходимые сведения в Интернете. Но время для встреч с Анной всё-таки находил. Теперь у него всегда было надёжное оправдание на случай, если жена спрашивала: «Где был?» Константин спокойно отвечал: «Работа. Я же теперь в рынке». Она равнодушно кивала и больше ни о чём не спрашивала. Он не мог понять, довольна она или нет тем, что он теперь зарабатывает не меньше её (на самом деле зарабатывал больше, просто ей отдавал ровно столько, сколько зарабатывала она, остальное брал на свои расходы).

Он сводил Анну на выставку живописи, на концерт органной музыки. Потом предложил съездить на рыбалку.

— А ты увлекаешься? — удивлённо спросила она.

— Ну не так чтобы очень, но люблю.

Договорились, что он будет ждать её на велосипеде на конечной остановке, почти уже за горо-

дом, откуда они поедут на Иртыш. «Посажу тебя на багажник, — сказал он, — и двинем».

Он ждал её долго; стоял поодаль от остановки, прислонив велосипед к берёзе. Перед ним расстилалась асфальтовая площадка, на которой, высадив пассажиров, разворачивались редкие автобусы и маршрутки и подъезжали к старенькому зелёному остановочному павильончику. За ним над бетонным забором высились панельные дома военного посёлка, а за спиной Константина шла под уклон пыльная дорога, терявшаяся среди берёзовых колков. Он с нетерпением ждал очередную маршрутку, а когда она подъезжала, пристально смотрел на выходявших из неё людей. Но Анны всё не было и не было. Он уже думал: не придёт. Пожалел, что не взял свой сотовый телефон. И вдруг услышал сзади:

— Эй, Солнце!

Обернулся и увидел её. Она стояла, положив руки на руль велосипеда. На ней была красная спортивная куртка, красная с какой-то чёрной надписью кепка-волан, синие с красными лампасами спортивные брюки. За спиной — рюкзак. К раме велосипеда был привязан спиннинг.

— Заплутала немножко, — говорила она, смеясь. — Ну что, веди, куда собрался!

Они проехали по лесным дорогам и, выехав на асфальтовую, помчались по ней наперегонки мимо дач, пересекли Южный тракт и помчались мимо огромных полей, засаженных капустой, картошкой, огурцами и помидорами; там под паутиной широко раскинутых крыльев поливочного трактора клубилась, радужно переливаясь на солнце, водяная пыль. Они летели вниз по крутому асфальтовому спуску к селу, проносились по улочкам среди его домиков и, наконец, съезжали с яра к широкой протоке с ивами на берегу.

Она налаживала спиннинг, а он, разматывая удочки, говорил:

— Здесь не берёт на блесну.

— Смотря у кого, — отвечала она, уходя по прибрежной тропе в густой осоке выше по течению. Там умело и сильно бросала блесну, крутила катушку то быстрее, то медленней и где-то на пятом забросе крикнула:

— Ну вот, а ты говорил! Я же знаю, у них сейчас жор!

Вываживая крупную щуку, кричала со смехом:

— Борись, родная, напоследок!

Принесла жемчужную, мокро сверкающую рыбину к кострищу среди ив, бросила на траву, весело сказала:

— Помогай! Дров собери!

Пока он таскал сушняк, она достала из рюкзака котелок, топорик, вырубив из ивовых ветвей стойки, перекладину, набрала в котелок воды, приладила его над кострищем и быстро почистила и разрезала щуку.

— У тебя дёргает, — кивнула в сторону удочек.

Он спустился к ним и вытащил чебачка. Сняв с крючка, бросил ей:

— Для комплекта... Где научилась-то?

— Да первый, пока человеком был, занимался. Хорошо умел, брал меня с собой, я и пристрастилась. На Чукотке это единственная отдушина была. Только скучно одной, да и сезон там короткий... Ай, лучше не вспоминать!

Запахло дымом костра, в котелке забулькало. Когда уха была готова и разлита по мискам, она достала из рюкзака двухсотграммовую бутылочку коньяка и пластмассовые стаканчики.

— Ну что, Солнце, мы с тобой ещё не причащались. За знакомство, что ли?

Потом сидели по разные стороны от костра, то и дело подбрасывая в него сухие ветки. Задумчиво глядя на огонь, она говорила:

— Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу... Как сказано! А выбор не наш, выбор — над нами. И никуда от него не денешься!

Он смотрел на неё сквозь сизый дымок костра; от её коньяка было какое-то особенно приятное опьянение. Он думал, как бы сказать главное, да поосторожней, потактичней, так, чтобы она поняла сразу, чтоб ненароком не зацепить её, как в эсэмэсную пору, когда от неё прилетело: «у тебя в семье как, Солнце, пусть я дрянь, жить с ним придётся, но в разведку не пойду!».

— Знаешь, что... — произнес он, наконец.

— А ты? — перебила она. — Ты знаешь, что? — И засмеялась. — Знаешь, что у меня за надпись на волане? Я специально такой заказала. На нём по-английски написано — «Солнце».

— Зачем же по-английски? Почему не по-русски?

— Чтоб никто не догадался и чтоб не спрашивали.

— А-а... Ну я, может, сделаю себе трафарет на майку по-французски — «Ночка»... — Он тут же посерьёзней и сказал: — Послушай, я...

— Не надо, — опять перебила она, глядя на костёр и поправляя головёшки тальниковой веточкой. — Я догадываюсь, что ты хочешь сказать, но... не надо сейчас... Мне очень давно не было так хорошо. Не надо отягощать... Да и лимит времени подходит к концу: мне ведь опять сегодня в больницу. Ещё чуток посидим и поедим...

Сказать ей это главное он смог только в самую последнюю встречу, уже в начале октября, в тот день, когда ему вдруг прилетела эсэмэска: «Думала, ещё неделя, а он приезжает завтра. И сегодня у нас последняя возможность встретиться». Он тут же позвонил ей, они договорились, что она будет ждать его на ближайшей остановке от её дома, попросил у директора фирмы машину (тот с большим скрипом отпустил его на полтора часа: был очень важный момент электронных переговоров одновременно с четырьмя заводами, в том числе и с двумя зарубежными) и, продравшись через городские пробки, потратив на них большую часть отпущенного ему времени, крикнул, открыв дверцу:

— Анна Васильевна! Сюда!

К нему повернулись сразу несколько человек из стоявших на остановке. Повернулась и она. Увидев его в машине, застыла от неожиданности, но тут же заулыбалась. Подбежав, легко впрыгнула на переднее сиденье, сжала ему руку, ткнулась носом в плечо. И вновь ему в голову ударил опьяняющий аромат её волос, духов. В груди дрогнуло одновременно и сладко, и горько. Он поспешно и сбивчиво объяснил, что времени у него совершенно нет, и повёл машину к стоящему неподалёку скверу. Там хорошо пахло пожухлой травой и дымком от костров, в которых сжигали опавшую листву. Стоял тёплый солнечный денёк бабьего лета. Константин оставил машину на парковке, они вошли в сквер и сели на скамейку. Тогда-то и сказал он ей то главное, что не дала она ему сказать на рыбалке.

— У меня, возможно, в ближайшее время будут кой-какие перемены... Ну и, может быть... появятся хорошие перспективы... — Он говорил, не без труда подбирая слова. — С жильём... со всем... Понимаешь?.. В общем, если всё получится, ты... Ты пойдёшь ко мне?.. С дочерью, с сыном... Так, чтоб совсем... Ну, то есть... замуж...

Она сидела, наклонясь вперёд, низко опустив голову, слушала его очень серьёзно. Когда он замолчал, долго не отвечала, думала. Потом заговорила:

— Ты как-то обмолвился про свою жену, что она, дескать, глупа. Не кори её за это. Я где-то читала: в глупости женщины высшее блаженство мужчины. А она у тебя, я думаю, не так уж и глупа. Живёт рассудком, сумела добиться того, что вы не бедствуете. У меня бы, наверное, так не получилось. Ты не обижай её, пожалуйста.

Он молча кивнул и спросил, мягко беря её за плечи, поворачивая к себе лицом и заглядывая в глаза:

— Ну так как же?

Она высвободилась и встала:

— Что-то мне тревожно за тебя. Начальство ждёт, ты опаздываешь. А потерять работу сейчас — раз плюнуть. Пора прощаться. Я пойду домой через сквер, а ты садись и езжай. А то будут тебе перемены...

Она сделала от него два шага, остановилась, повернулась и с горькой усмешкой сказала:

— Я бы пошла, конечно... Но... Он не отдаст мне сына. Он предупреждал.

— У него, что, есть такое право?

— У него есть юридическое обеспечение... Связи...

— Ага... Как у Каренина... Но, может, всё-таки...

— Нет, нет, не получится... Ну всё, — улыбнулась она ободряюще. — Спасибо тебе, Солнце... И — счастья!

Она быстро приблизилась к нему, прикоснулась губами к уголку его губ, задержалась так на два-три мгновения, обдавая его лицо жаром, потом отпрянула, вскинула руку в прощальном жесте, повернулась и, хрустя гравием, торопливо пошла прочь по аллее сквера. Когда она поворачивалась, он успел увидеть на её лице сверкнувшие на солнце слёзы.

Как-то так получилось, что в каждую из их встреч светило солнце.

4

Первое время было трудно, его тянуло к ней очень сильно, несколько раз он не выдерживал, звонил на её сотовый, но слышал только голос автоответчика: «Телефон абонента выключен». На эсэмэски тоже не было ответов. Постепенно он свыкся и перестал звонить. Позвонил только после конкурса, который проходил в большой, заполненной людьми институтской аудитории. Чем-то это напоминало защиту дипломных проектов. Претенденты на поставку сварочного оборудования новому железобетонному заводу выходили к доске, расклеивали на ней рекламные проспекты и с указкой в руке рассказывали о своих комплектах оборудования. Константин потрудился не зря, его подбор сварочных трансформаторов и выпрямителей для ручной дуговой сварки, аппаратов для полуавтоматической сварки, станков и машин для контактной сварки и всего прочего, необходимого заводу по их профилю, плюс станки для рихтовки и резки арматурной проволоки, оказался самым лучшим, и, когда их фирма была объявлена победителем, все аплодировали ему стоя, даже самые ярые конкуренты. «Ну спасибо, брат! — обнимал его на радостях директор. — Честно го-

воря, я думал, не получится! Но всё будет так, как я сказал! Сегодня-завтра оформляем сделку, и через два дня твои десять процентов будут у тебя на счету!»

Таким образом, через два дня Константин стал обладателем целого состояния. Пусть не очень большого, но всё же. Дарье об этом не сказал. Однако половину суммы положил на отдельный счёт, чтобы в случае, если им всё-таки придется расстаться, сразу отдать ей. Теперь Константин мог купить небольшую квартиру или взять в ипотеку большую. Домой он принёс и положил на стол приличную сумму — из своей половины. Взглянув на деньги, жена спросила:

— Откуда столько? — И посмотрела на него недоверчиво. — Ты там ни в какие махинации не вляпался?

«Дура!» — хотел сказать он, но вспомнил просьбу Анны не обижать её и сказал с улыбкой:

— Это премия. Честно заработанная.

И хотел приобнять её, но она, как почти и всегда, оттолкнула его:

— Ладно... Подъезжаешь...

Ничего не менялось в его жизни. В смысле — в личной. На работе-то менялось. После победы в тендере фирма получила несколько очень выгодных заказов. Директор ввёл в штат должность коммерческого директора, которой у них не было раньше, и утвердил на ней Константина, повысив ему оклад в полтора раза. Константин удивлялся своей неожиданной везучести и связывал её со своими молитвами и свечками, которые регулярно ставил в храмах и часовнях.

Он позвонил Анне, но вновь услышал голос автоответчика... «В основном всё-таки не повезло!» — сокрушённо думал он и с содроганием представлял, как же она сейчас... с тем, бронзоволицым, похожим на зверька... Он подумал, надо бы найти её адрес да как-нибудь выследить, встретиться. Но не спешил, чего-то опасался, точнее многого опасался. Например, если всерьёз начать борьбу за неё, придётся сразу же столкнуться с тяжелейшими препятствиями, главное из которых — сам подполковник. Ясно, что с ним никакого разговора не получится, как не получилось тогда, у здания администрации. Верное дело, подполковник сразу же полезет в драку. Придётся встречать справа и пожёстче, чтобы отбить охоту. Но перевести разговор в мирное русло вряд ли удастся, а Константину надо было именно так — мирно, цивилизованно, по-джентльменски. Он думал, как это устроить, и какие-то варианты вроде наклё-

вывались, но всё-таки пока толком не знал как. Время шло, он всё думал, думал, присматривал через риэлторскую компанию квартиру и даже присмотрел — трёхкомнатную, в хорошем месте. А совсем недавно нанял частного детектива, и со дня на день у него должен был появиться адрес Анны. Провёл и пробный разговор с женой.

— Слушай, — сказал, когда они были вдвоём на кухне. — А если я, к примеру, уйду?

— Чего? — обернулась она от плиты.

— Я говорю, если я от тебя уйду, как ты на это помотришь?

Она, вскинув голову и уперев руки в бока, резко ответила:

— Ой, ну надо же, как он меня напугал! Нашёл, чем достать! Иди! Давно пора! Я только рада буду!

Но, как ни зло блестели её глаза, ему стало понятно: рада она, пожалуй, не будет. Хотя и удерживать, конечно, не станет.

Этот разговор был позавчера. А вчера она ему сказала, уже не зло, а лишь хмуро:

— Ты вот что... Вместо того чтобы плести всякую ерундень, хоть раз помоги мне. Надо одёжку новую купить на лето, мне, Машке, да и тебе тоже. Завтра воскресенье, давай-ка в «Торговый город» съездим... — При этом она насторожённо поглядывала на него исподлобья, словно ожидая и опасаясь чего-то недоброго для себя.

И вот он идёт с ней по торговым рядам, уже нагруженный пластиковыми пакетами с одеждой. Вокруг бушует весна. Примерно год прошёл с тех первых эсэмэсок, которыми они обменивались с Анной. И полгода с той последней их встречи.

Телефон его снова оживает. Он уже снял его с «бесшумного», и в кармане раздаётся короткая трель. Он знает, что это опять она. Перед глазами стоит первая эсэмэска, всего из двух слов: «Привет, Солнце!».

Он отстаёт от жены, берёт пакеты в одну руку, другой достаёт телефон и на ходу читает:

«Ну что же ты, Солнце?! Почему не отвечаешь? Я так соскучилась, мне так много надо тебе сказать! У меня большие перемены, наверное, важные и для тебя... Отзовись!».

Он отзовется, чуть позже. Вот сейчас они выйдут с рынка, подойдут к остановке, он положит на асфальт пакеты и отзовется. Что же он ей ответит? Пока не придумал, хотя уже что-то мелькает... Ага, может, вот это: «Жизнь подарит нам новые свежесть и свет, впереди будет всё по-другому!».

Марина Безденежных



Повод для песни

* * *

Снова тяжкий и сладостный маятник,
Прежних мыслей и чувств перепад...
Узнаю тебя, жизнь, принимаю!
Вот и нам уголёк перепал...

Ужасаюсь, смущаюсь и — делаю.
Чтобы по мановенью руки
Одичавшие душу и тело
Разогнать до любви и строки...

* * *

Кухарка — в принцессу,
а тыква — в карету...
И дрогнет, узнав, рука...
Конечно, не надо
всё в ту же реку, —
но это — НЕ ТА
река...

* * *

Опус подарен.
Коньяк допит.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Марина Александровна родилась и живёт в Омске. Окончила филологический факультет ОмГУ, аспирантуру МГУ. Работала в школе, в газете, преподавала в Омском государственном педагогическом университете. Стихи печатались в коллективных сборниках, журналах «Колобок», «Земля сибирская, дальневосточная», «Литературный Омск», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Москва», альманахах «Поэзия» (Москва), «Иртыш», «Альманахе-2004» (Санкт-Петербург) и др. Кандидат филологических наук, зав. кафедрой лингвистического образования ИРООО. Руководитель областного литературного объединения при СП РФ, автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей России.

Тряпки не повод,
чтобы вернуться...
Все треугольники
(без обид!)
Пахнут бермудством.

Страсти
привычно уже
отсеку
В огне- и водоупорные
строфы.
Взмах и улыбка!..
Сколько секунд
До катастрофы?

* * *

Что за нейтральным и вежливым «рад»?
Хочешь? Жалеешь? Врачуешь недужных?
Мне от тебя ничего и не нужно!
Или — не врать?..

Ладно, неважно. Какие дела?!
Ты не ответишь. Никто и не спросит...
Ты подарил мне хорошую осень —
Я приняла.

* * *

Грешим, ошибаемся, маемся,
главное — живы.
Могли бы, наверное,
с памяти пыль протирать...
В маршрутке задёрганной,
чтоб не смущать пассажиров,
Глаза закрываю —
там столько всего про тебя...

* * *

Верую в лучшее. Пользуюсь случаем.
Помню добро. Виновата за всех.
И ни к чему объяснениями мучиться —
Я каждый раз ухожу насовсем.

* * *

Не боясь упрёков и пророчеств,
Перепада бешеных стихий,
Резаться о собственные строчки!

Обоюдоострые стихи...

* * *

Шире круг! Телефон, интернет...
Можно белыми быть и пушистыми.
А друзей-то, по правде, и нет.
Просто званье даётся пожизненно...

* * *

Мой добрый волшебник, спасибо.
Всё было светло и красиво.
Пустое — любя, не любя...
И всё тебе, в общем, по силам —
Даритель, спасатель, спаситель...
Но кто пожалеет тебя?

* * *

Если б хвалил меня или ругал,
Я б поняла, не маясь.
Но, если верить твоим рукам,
Ты меня понимаешь.

Суетный мир за окном стихал,
Слушал. Уже немало.
Если ты веришь моим стихам,
Я тебя понимала?

* * *

Озябшую душу *ещё* обнажать?
До дна? До изнанки? Пускай удивятся?

Опять мы с душой бесприютны. А жаль...
Пора одеваться.

* * *

Живу, как все. Изысканная гордость...
Куда мне прозревать, вещать, парить...
Дышу, как все. Терплю... Я только голос
Для тех, кто не умеет говорить.

* * *

А наши души хотят к вершинам,
А жизнь нас учит не брать, не сметь.
И это тело несовершенно,
Но для кого-то и жизнь, и свет.

А что теряем, сомнений кроме?
Всё не по средствам, не по годам...
Товар бесценен, подарок скромн...
А во спасенье — бери, отдам.

* * *

Под рэп истерики —
ах, не любят!..
И в моде петли
и ножевые..
А рядом гибнут
родные люди,
Но их не жалко —
они живые.

* * *

Что перевесит? Нет или да?
Мой или жизни норов?
Повод для песни — любовь и беда.
Всё остальное — норма.

* * *

Где-то рушились стены — в значенье
прямом,
Где-то пели, смеялись и спорили...
У кого-то на кухне творится ремонт,
У кого-то — История.

Андрей Фролов



Кажется, я не умру никогда...

Пироги

В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
Глядя искоса на стол.

Там укутан в покрывало
Хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
— Не таскайте,
пусть дойдут...

Но какой же запах вкусный!
И с самим собой в борьбе,
Я тещу сестре — с капустой,
С мясом — папе и себе...

Мама громко нас ругает,
Отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
Значит, в доме мир и лад!

Ворожея

Ходили слухи: бабка — ведьма,
Мол, ей и сглазить — плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
Но ведьмам слухи — не указ.
Вот и жила неторопливо,
Мирясь со злобой языков,
И взглядом, жгучее крапивы,
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
Копной волос белым-бела
И подозрительно здорова...
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
Утихомирлась молва...
А на девятый день округе
Хватать не стало волшебства.

* * *

Кажется, я не умру никогда...
Речка дымится над вспаханным полем.
Вслед отступающим страхам и болям
С неба насмешливо смотрит звезда.

Ей говорю: «Не меня сохрани,
Но береги без конца, год за годом
Тех, кто с моим невесёлым уходом
Могут пред миром остаться одни...».

Сорванный лист устремлён в никуда —
То ли падение, то ли паренье.
Дочка вишнёвое варит варенье...
Кажется, я не умру никогда.

ФРОЛОВ Андрей Владимирович родился в 1965 году в Орле. Окончил Орловский строительный техникум, служил в рядах Советской Армии. В настоящее время — заместитель директора ОГУК «Орловский Дом литераторов». Автор двух книг стихотворений: «Старый квартал» (2000), «Над крышей снова аисты» (2004) и сборника рассказов «Конечная остановка» (2006). Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2009). Живёт и работает в Орле.

Съёмки

Глухое рывканье мортир,
 Дым в поле, как стена...
 Снимают фильм «Война и мир» —
 Сейчас, как раз, война.
 Гороховецкий полигон
 Теперь — Бородино.
 Наш взвод в массовку приглашён...
 Такое вот кино!

На десять дней ворвался свет
 В армейский серый быт!..
 Жаль, во француза я одет
 И должен быть убит.

Красиво падать учит нас
 Известный каскадёр.
 И вот грохочет, как приказ:
 «Внимание! Мотор!».

Кино — серьёзная игра:
 Бежим в атаку, но
 Лихое русское «ура»
 Кричать запрещено.

Штабной московский генерал
 Безмерно горд за нас,
 А я бы русского играл
 Правдивей в десять раз!

Про соседку

Долго не пишется...
 Яблони ветка
 Лезет в окошко, тихонько звеня...
 Тут вот на днях прицепилась соседка:
 «Ты, говорит, напиши про меня.
 Я ж, погляди-ка, страдаю от веку:
 Брошена, дети — сиротки, как есть...».
 Как же, ну как объяснить человеку:
 Судеб разбитых на свете — не счастье.
 Нынче хорошее встретится редко,
 Чаще — предательство, злоба, враньё.
 Ну а соседка... Да что там соседка!
 Я ведь уже написал про неё:
 В этом стихе, и вот в этом, и в этом —
 Долго верёвочку горькую выю...
 Нет. Обзывает хреновым поэтом —
 Хочет фамилию видеть свою.

Сватовство

Насупленный штакетник,
 Два пристальных окна...
 В руках моих букетик,
 В коленях — слабина.
 Внезапный скрип калитки,
 Как властный окрик — эй!..
 Я медленней улитки
 Ползу к судьбе своей.
 До онеменья страшно
 В отчаянье гадать:
 Что если твой папаша
 Не хочет тестем стать?
 Что если мой букетик —
 Совсем не аргумент,
 И мать твоя ответит
 Категоричным «нет»?..
 Я делаюсь отважным
 И злым, как во хмелю, —
 Одно, одно лишь важно:
 Что Я

ТЕБЯ

ЛЮБЛЮ!

* * *

Пусть мне скажут, что я не такой,
 Что выделяюсь в толпе городской,
 Что «махнул на святое рукой»,
 Что я этакий, даже сякой...

Разольюсь карамельной тоской
 В невозвратный закат над рекой
 И умру просветлённой строкой...
 А иначе и жить-то на кой?

Молитва

Убереги меня, Судьба,
 Не от невзгод, не от болезней —
 От суматохи бесполезной
 И от позорного столба.

Не дай забыть своё родство,
 Чтоб не краснеть отцу и деду;
 Дай счастье знать, что я не предал
 На этом свете никого.

Что всё и всем отдал долги,
 Что был не пасынком Отчизне...
 От пустяковой, зряшной жизни,
 Судьба, меня убереги.

Алексей Кривдов



Два рассказа

Обычное дело

Кабанчика своего Виктор Годун, как обычно, к седьмому ноября решил забить. Пускай седьмое число уже и не красный день календаря, да не с руки под старость лет привычки свои менять... «Вот четвертого, в пятницу, в новый этот праздник и заколю, — настраивал себя Виктор. — Или в субботу... Да хоть в воскресенье, главное, чтобы седьмого мяса на столе было!»

И жену, которой хотелось кабанчика, в этом году единственного, до новогодних праздников додержать, уговорил: мол, какой толк кабана в зиму кормить, всё равно расти не будет, а тут снежок как раз землю припорошил да похолодало слегка... Самое время поросят резать, чего потом в стужу с ними возиться!

Пошёл Годун по деревне искать, кто бы из мужиков ему в выходные помог кабана заколоть. К одному заглянул, к другому — все заняты...

Считается, что любой мужик в деревне способен поросёнка зарезать. Способен-то он, способен, да вот только не каждый режет. Иной хозяин предпочитает всё-таки проверенного умельца позвать, потому как оплошаешь, промахнёшься ножом куда надо или не вовремя ткнёшь — мясо плохое будет, кровяное. Да и вообще мало ли что... Вот и зовёт не уверенный в себе мужик какого-нибудь поднаторевшего «спеца», который и кольнёт аккуратно, и тушу быстро да чисто раз-делает...

КРИВДОВ Алексей Викторович (р. 1962). Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. С 1990 по 2003 год работал главным хранителем фондов Нижнеудинского историко-краеведческого музея. В 2002 году занял первое место в конкурсе «Лучший музейный работник Иркутской области». Литературным творчеством занимается с 2001 года. Рассказы публиковались в местной периодике. Член Союза писателей России. С 2004 года живёт в Омске.

У каждого такого специалиста свой подход и метод. Кто только ножом да верёвкой обходится, но непременно с помощником, кто в одиночку идёт в пригон с колуном в руке или с ружьём либо «мелкашкой» — винтовкой малокалиберной, чтобы обухом, выстрелом ли в лоб сбить животное с ног, обездвигнуть, а уж потом ножом дело окончить.

Поговаривают, что были когда-то в деревне и такие мастера, что заходили в стайку с ножиком за голяшкой и никакие помощники и подручные средства им были не нужны. Об одном из них даже легенду пустили, будто бы знал мужик слово особое и стоял перед ним любой кабан не шелохнувшись, а после валился замертво, даже не взвизгнув...

По обыкновению вспоминался этот мифический мастер каждый раз, когда уже шкворчали на сковородке в растопившемся сале куски свежей грудинки вперемешку с ломтиками печени да почечек, поскрипывала на зубах квашеная капуста, а глаза у мужиков поблёскивали после первой стопки. Тут-то какой-нибудь разомлевший кольщик, косясь на сковороду со свежениной, прислушиваясь, довольный, к похвалам за чистую работу, непременно говорил:

— Да я-то уж что... Обычное дело! А вот Архип... Слыхали, небось, о таком? — обводил взглядом хозяев, что с готовностью ждали очередного варианта уже не раз слышанной истории. — Так вот, врать не буду, но, вот те крест, люди рассказывали: заходит он как-то раз в стайку...

Что там происходило, всяк рассказчик по своему домысливал, только размер кабана оставался неизменным — с хорошего телка.

Годун ни колун не использовал, ни ружьё с «мелкашкой». Он вообще свиней сам никогда не резал ни по молодости лет, ни сейчас, уже к пенсионерам приписанный. Опалить, разделать — пожалуйста, но вот чтобы самому...

Виктор и момент тот неприятный, когда у него поросёнка жизни лишали, в доме пережидал, чтобы не видеть и не слышать.

Мужики деревенские Годуна уважали, но над особенностью его такой подсмеивались, подначивали: мол, как же он в лесу-то зверьё стреляет, не жалко ли?

Виктор, слывший в деревне охотником удачливым, в ответ только усмехался. На охоте азарт, там кто кого переиграет, там его ещё надо суметь добыть, зверя-то... И сколько раз Виктор из леса возвращался с пустым рюкзаком, сколько раз в своей жизни лишь провожал взглядом добычу, которая, казалось, уже была у него в руках...

А какой шанс у поросёнка в стайке?

Шансов у кабанчика, что похрюкивал безмятежно в годуновской стайке, не было никаких. Потому как, походив по деревне, Виктор напоследок заглянул к своему соседу, молодому ещё мужику Петьке Завьялову, который, выторговав три килограмма мякоти и половину печёнки от будущей жертвы, согласился-таки кабанчика в воскресенье забить.

— Четвёртого, дядь Витя, грех не кирнуть, раз уж праздник, — тянул, раздумывая, Завьялов. — В субботу оклемаюсь... Ну, а в воскресенье, пожалуй, часам к десяти жди.

Памятуя забор, из-за которого они по осени поругались, к Петьке Годун бы не пошёл, будь у него другие варианты, и обратился к соседу лишь потому, что уж очень не хотелось отказываться от своего намерения седьмое число со свеженькой встретить. А Завьялов, слегка покочевряжившись, на просьбу Виктора откликнулся, посчитав, что тот, таким образом, решил конфликт сгладить...

Забор, что их огороды разделял, завьяловский бычок ещё в начале октября попортил. Картошка к тому времени давно уже была выкопана, и скотину из тесных пригонов стали на огородные просторы выпускать. Чем уж так бычка соседская территория привлекла неизвестно, а только сунул он как-то раз свою морду в подгнившие драницы, да и оторвал парочку от нижней, трухлявой прожилыны.

На следующий день возле забора шум — Завьялиха предъявляет претензии, что в её ещё не срубленной капусте Анькины куры пасутся. Сначала бабы между собой отношения выясняли, затем мужики вышли, стали решать, кто забор поправлять должен.

— Твой бык забор разворотил! — наступал Годун. — Ты и городи!

— Твои куры мою капусту клюют, вот и ремонтируй, — упирался Завьялов.

Оторванные драницы дня через два Анна к прожилине проволокой на скорую руку примотала — надоело кур из соседского огорода выманивать. А мужики, что Виктор, что Петька, втайне каждый про себя решив, что по весне обязательно прогнивший забор сам обновит, но сейчас и пальцем не притронется, неделю никак не здоровались, а затем при встрече лишь кивали издали, не вступая в разговоры...

В воскресенье утром, когда Виктор, проснувшись, зашёл, позёвывая, в летнюю кухню, на плите уже стояла ванна с водой, в печи потрескивали дрова, у порога блестели чисто вымытыми боками эмалированные тазы. Годун одобрительно взглянул на жену, разбирающую старые тряпки в углу кухни и, усаживаясь за стол, для порядка спросил:

— Ты, случаем, поросёнка-то не накормила?

— Лишь бы к чему прицепиться... — буркнула Анна, разрывая серую, истёртую простынь на полосы. — Не слышал разве из ограды, как он в пригоне орёт неокормленный? Всю душу вымотал... Где Петька-то твой?

— Так к десяти обещался. — Виктор взглянул на часы. — Должен сейчас подойти...

— Ну, жди... К обеду, может быть, и дождёшься! С Ермаком бы лучше договорился...

— Ермак сам сегодня своего кабана режет. — Годун отложил вилку, которой начал было ковыряться в картошке, потянулся к чайнику. — И Николай тоже. К седьмому же все...

Анна, положив на старый сундук наготовленные тряпки для мытья поросёнка, прошла к столу, опустила устало на табуретку напротив мужа и, отведя взгляд к окошку, попеняла:

— Невтерпёж ему... Отложил бы, чего спешить? Сын с невесткой на Новый год собирается приехать да внука привезти. А то внучка летом и видим только... Вот тогда бы и зарезали кабана. И мяса с собой свеженького детям бы дали...

— Куда откладывать-то? Седьмое число уже завтра...

— Втемяшится же! — Анна повернулась к мужу и передразнила, припомнив его объяснение: — «По пого-оде, чего в зиму корми-и-ить...». Небось, уже кого из собутыльников на завтра позвал? Благо закусывать теперь будет чем... А что праздновать намерились? Праздничек-то — тью-тью! — Анна пододвинула к себе картошку. — Ну, вот иди тогда и режь кабана сам! У меня вода в ванне уже готова... Остынет, пока твоего Петьку

ждём, что, заново её потом греть? Я и так спозаранку кручусь, позавтракать некогда!

— Чего городишь-то? Я же ...

— Ах, ты же не можешь! Знаю я твое «не могу», блажь эту, прихоть... Изучила уже! Ты по всей своей жизни грязную да неприятную работу на других перекладываешь!

Годун вскинулся, закатал желваками, но сдержался, смолчал. Допил чай, демонстративно шумно втягивая его из кружки, и, набросив телогрейку, хлопнул за собой дверь.

«Ну что за баба, — закуривая на дворе сигарету, досадовал Виктор. — Сумеет же в душу плюнуть! И ведь сама всё прекрасно знает и понимает, а уколоть надо! Старых друзей собутыльниками окрестила... Да и не звал он в этот раз никого, но самим-то им с Анной праздник всё равно надо отметить! Из принципа...»

Здорово обиделся Годун на то, что перестало седьмое ноября считаться праздничным днём. Что придумали новый праздник, в противовес, да ещё рядом поставили. Ну, сидели ещё в прошлом году все в один день, пусть каждый по своим домам, но воедино, кто за согласие пил и за примирение, а кто за годовщину события, из-за которого надо соглашаться да примиряться... Кому мешало?

И единственное, что мог сделать Годун, это заколоть кабана именно к седьмому числу, как из года в год в деревне делали... А седьмого сесть за стол, где будут свежие свиные котлетки в подливке плавать и соленья-варенья разные стоять, да и выпить за праздник, который отменили. Поэтому как его, Годуна-то, кто отменит? Кто из его памяти сотрёт транспаранты кумачовые, лица праздничные, торжественные собрания в клубе, где Виктора непременно отмечали то грамотой, то пускай и в десять рублей, но премией, а когда и значком ударника?

Виктор потоптался в ограде, глянул на припорошённые ранним снегом верхушки сопки, что горбились на горизонте, вздохнул... Потрепал привязанную у амбара собаку за загривок и, отперев амбарную дверь, стал в полутьме шарить по полкам в поисках паяльных ламп...

Петька пришёл, когда Годун уже давно лампы заправил, проверил и на второй раз принялся точить ножи. Раздражённый, Виктор начал было соседу выговаривать за опоздание, но, присмотревшись к Завьялову, осёкся. Лицо у Петьки помятое, глаза мутные, изо рта перегаром несёт...

— Ты, что, с похмела?!

— Ну... Да чего там, дядь Витя... Так, слегка.

— Какое «слегка»? Ты на свою рожу смотрел?

Руки вон ходуном ходят... Как кабана-то колоть будешь?

— Да ладно тебе... — Завьялов стянул с плеча старенькую «мелкашку» и, положив её себе на колени, уселся на ступеньку крыльца. — Налъёшь мне грамм сто, и всё путём будет...

Насупившийся Годун прикрикнул на собаку, что, натянув цепь, лаяла на чужака не умолкая, затем, психанув, заволок пса за ошейник в амбар и запер его там.

— Ну, уж нет! Развезёт на старые дрожжи. Сначала дело, а уж потом... И проси не проси, а наливать я тебе, Петька, сейчас не буду! Давай иди... Кабан в пригончике, за стайкой, а я в кухне подожду...

...Петька четвёртого числа крепко «набрался» со своим тестем. А вчера не удержался да продолжил... Сначала у того же тестя опохмелился, потом к приятелю заглянул; за магазином, на берегу с кем-то пил, а последнее, что помнил, — гул электромоторов в деревенской кочегарке...

Сегодня утром Петьке хотелось в первую очередь сдохнуть раз и навсегда, а во вторую немедленно чего-нибудь выпить. Постанывая, держась за стенки, он пробрался на кухню, где, к его великому счастью, обнаружилась на столе запотевшая, только что из погреба банка с огурцами. Косясь на сидевшую у печки жену, Завьялов слегка привёл себя в чувство огуречным рассолом и, вспомнив вдруг об уговоре с Годуном, приободрился — впереди замаячила бутылка, которую Годун непременно выставит за заколотого кабана...

В обвисших трусах, в серой майке, влажной от похмельного пота, Петька полез под кровать за старым чемоданом, в котором хранились его охотничьи припасы.

Жена с Петькой принципиально не разговаривала и, скрестив на груди руки, молчком наблюдала, как Завьялов непослушными руками шарил в чемодане, выковыривал из новой пачки «тозовочные» патрончики, одевался, вытаскивал из шкафчика свою «мелкашку», искал самодельный из автомобильного клапана выкованный нож... Но, когда Петька уже ухватился за дверную ручку, не выдержала:

— Гляди-ка, намылился! Весь день вчера неизвестно где шатался, а за полночь неизвестно откуда приполз! Он гуляет, а я тут пластаюсь одна и по дому, и по двору... За рассолом для него в погреб лазаю... Бери вон ведро да иди поросёнка накорми! И бычку сена задай... И поросёнка-то из стайки в пригон выпусти, пускай погуляет!

Матерясь вполголоса, Петька взял приготовленное у двери ведро с варёными картофельными

очистками, приправленными комбикормом, вышел во двор и потащился огородом, вдоль ветхого забора к стайке.

Что у Годуна, что у Завьялова стайки с животной располагались в конце огородов и стояли впритык друг к другу. Пока Петька кормил своего поросёнка и бычка, со стороны соседа его преследовало повизгивание голодного кабана. «Ну, ничего, — думал Петька. — Подожди... Сейчас хозяин твой нальёт мне с полстакана для опохмелки и я уж тебя успокою!»...

...Петька с досадой проводил взглядом крижистого Годуна, легко подхватившего по пути в летнюю кухню и оставившего в сторону здоровую чурку, на которой подготавливал до прихода соседа паяльные лампы. «Крепкий гад, даром, что уже пенсионер, — сплюнул Завьялов. — По лесу как молодой бегаёт! И упёртый... Если упёрётся, то шиш своротишь...»

Осознав, что, пока с поросёнком не разделается, опохмелки ему не видать, Петька, вздохнув, поднялся с крыльца и начал действовать. У калитки небольшого, метра в четыре, пригона, Завьялов оттянул затвор своей однозарядной «ТОЗ-8», сунул патрончик, посмотрел на упитанного кабана, отбежавшего в дальний угол пригона, положил на столбик калитки ещё пару патрончиков — на случай осечки и, отворив калитку, но, не заходя в пригон, прицелился.

«Тще-п-лыг» — раскатился под навесом негромкий выстрел «мелкашки». Пулька скользем ударила о лоб кабана, вздёгнувшего в момент выстрела голову, и щёлкнула, отрикошетив, по дранице загородки. Передние ноги у кабана подкосились, и тот, сунувшись вперёд, начал заваливаться на бок. Завьялов на какое-то мгновение замер, чувствуя, что выстрелил неудачно, но затем, приткнув по-быстрому «тозовку» к углу стайки, выхватил нож из болтавшихся на поясе ножен и, спотыкаясь на подмёрзшем свином помёте, зашпешил к сучающему задними ногами поросёнку.

Когда Петька, захватив переднюю ногу кабана, нацелился ножом пальца на два левее грудной кости, животное, приходя в себя, дёрнулось, делая попытку вскочить. Петька придавил поросёнка коленом и, паникуя, второпях ткнул ему ножом в область сердца, уже не целясь... Кабан визжал и забился. Завьялов, едва успев выдернуть нож, отпрянул к калитке.

Кабан надсадно визжал и крутился в углу пригона. «Блин... Неужели в сердце не попал? — утирал Петька рукавом телогрейки лыющийся со лба пот. — Пойди сейчас, подойди снова к нему!» Завьялов покосился на «мелкашку», на окровав-

ленный нож в руке, осторожно сделал пару шагов к кабану. Кабан, между тем, завалившись в когда-то сделанную им самим же глубокую рытвину у загородки, уже не визжал, а хрипло стонал, делая бесплодные попытки подняться. Петька ещё с четверть минуты потоптался на месте, наблюдая за кабаном, подобрал валяющуюся в навозе шапку, отряхнул её об колени, нахлобучил на голову и, подхватив «мелкашку», подался вон из пригона: «Сам сдохнет...».

На тропинке вдоль забора, в самом начале огорода, Петьку поджидала Анна с поросычьим кормом в небольшом пластиковом ведёрке.

— Чего он у тебя орал-то так?

— А что ему не орать, — нервно хохотнул Завьялов. — Я же ему там не за ушами чесал... А ты, тетя Аня, куда это с ведром? Кормить-то уже некого!

— Для тебя приготовила, охламона, да угостить не успела, — съехидничала Анна, поставив ведро к забору возле обмотанных проволокой драниц. — Надо ж было сначала плеснуть немного корма кабану в корыто — приманить, успокоить... Но куда там! Я только за тобой в пригон, слышу — пальнул уже... — Анна взглянула подозрительно на Петьку: — Всё нормально?

— Да чего там... Иваныч-то где?

— В кухне... Где же ему ещё быть!

Годун сидел на корточках возле полуоткрытой печной дверцы, попыхивая сигаретой. Увидев входящих в летнюю кухню Завьялова и Анну, неспешно поднялся и деланно равнодушно спросил:

— Готов?

Петька прошёл к столу, искоса глянул через окошко на стайку, на открытую калитку пригона...

— Как с куста! Сейчас смолить пойдём, дядя Витя. Ты только мне...

— Да ты сядь покуда, покури, а там и пойдём, — перебил Годун Петьку, украдкой кивая ему на Анну. — Погрейся вон у печки...

— Вы тут особо-то не расслаивайтесь. — Анна сбросила замызганную телогрейку и, надевая перешитую со снохи потёртую козью шубку, повернулась к Виктору: — Я в магазин, за хлебом. Пока смолить будете, вернусь... Если задержусь вдруг, вон тряпки на сундуке, а вода подогревается... И смотри у меня!

Когда за женой хлопнула калитка ограды, Годун вытащил из холодильника бутылку водки, тарелку с квашеной капустой, снял крышку со сковороды с недоеденной картошкой... Петька кинул шапку на сундук и пристроился к столу, потирая руки:

— А я уж думал ты меня «прокатить» собрался...

— Да при Анне бутылку доставать не хотелось... Я тебе сейчас плесну немного для поправки здоровья, а остальное уже под свеженину вместе выпьем... Петька ты руки-то вымой! Куда такими руками к хлебу тянешься!

Пока Завьялов споласкивал руки, брэнча носиком умывальника, пристроенного за печкой, Виктор достал из старого серванта гранёный стакан, налил до половины, посмотрел задумчивым взглядом на бутылку и медленно, как бы сомневаясь, убрал её в холодильник...

Присутствовала у Годуна и такая особенность: ежели не было водки, то она ему и на дух не нужна была; и никогда Виктор специально, как иные мужики, не бегал по селу в поисках этого удовольствия, но если перед ним на столе стояла бутылка... Виктор крикнул, пододвинул стакан к Завьялову и отвернулся к окну.

— Дядь Вить, что-то не могу я. — Петька, взяв в руку стакан, покачал его, глядя на колышущуюся жидкость. — Не могу один-то... Давай и себе наливавай за компанию!

— Вот те раз! — оживился Годун. — А давеча, как пришёл, в одиночку бы всю бутылку высосал, если бы я тебе дал... И без всякой компании!

— Да будет тебе, — сжимая стакан, протянул Петька. — Я, что, алкаш, один пить? Давай уж соседски, вместе!

Годун заскучал. Затем, всем своим видом показывая, что делает Петьке великое одолжение, не торопясь, достал бутылку обратно из холодильника, взял из серванта второй стакан и, медленно наполнив до половины, стукнул им по Петькиному стакану:

— Ну, за удачную «охоту»!

— Давай! — Завьялов, морщась, давясь, выцедил водку и, удерживая её попытку выйти назад, прохрипел: — Вот зараза!

Сначала Петька побледнел так, что на его лице проступили все веснушки, затем покраснелся в цвет своей красно-рыжей шевелюре... Переведя дух, стал торопливо закусывать квашеной капустой. Виктор, утром лишь «поклевавший» картошки, выпив водки, тоже принялся за еду.

— А я, дядь Вить, одного-то своего кабана уже того... В прошлые ещё выходные заделал! — поплывший от водки Завьялов махнул вилкой. — К празднику... Как его? Единения, что ли? Все говорили, мол, рано, тепло ещё, а тут и снег посыпал... А другого, — Петька икнул. — Да я их обоих враз хотел, да Светка моя не дала. Говорит, до

весны... А ты, дядь Вить, что, к седьмому? А я, — хихикнул Петька, — с тестем четвёртое число так отметил...

— Надуманный он, этот ваш новый праздник, — буркнул Годун. — Давай собирайся, там поросёнок уже остыл совсем.

— А, может, повторим? Куда он денется... В две лампы-то быстро осмолим!

Годун качнулся на табуретке, потянулся, сцепив руки на затылке. Была бы у него одна бутылка... Но вчера Годун купил две «Путинки», одну, при Анне, поставил в холодильник, а другую припрятал в своём шкафчике с инструментами, прикрыв мазутными верхонками. Купил, предполагая, что одну-то Завьялову на угощение пустит, а вторую придержит. Анна, конечно, бутылочку в праздник выставит, но мало ли что, вдруг кто из мужиков заглянет...

— Ладно, наливавай... Чего губы мочить! — после некоторых раздумий махнул, наконец, рукой слегка захмелевший Виктор. — Под свеженину у меня ещё есть... Пустую выкинем, а взамен в холодильник целую бутылку поставим. Анна и не заметит ничего.

— Ну, дядь Витя, ну ты... Уважаю! — Завьялов стал шустро разливать по стаканам водку. — Это ты правильно. Чего кота за хвост тянуть... Ну вот, — выдохнул, выпив, — вторая соколом пошла... Да ты, дядь Вить, не сомневайся, сейчас мы кабана твоего лампами так разогреем, что он снова ногами задёргает!

Петька повернулся к окну и, кивнув в сторону стайки, осёкся. Годун, увидев застывшего с открытым ртом Завьялова, опёрся руками о стол и, нависая над ним, глянул в окно. Вдоль забора медленно брёл кабан. Переступив, кабан тыкался мордой в забор, опять делал вялый шаг, опять тыкался...

— Твою мать! Ты как его колол-то, что он по огороду бегаёт?!

Завьялов неуверенно приподнялся, пошатнулся, хватаясь за стоящий позади него ручной насос. Насос качнулся, расплёскивая воду из висевшего на его носике оцинкованного ведра, и Петька, обернувшись, испуганно замер...

— Какого лешего застыл? Иди делай что-нибудь! Или я тебя сейчас самого как того кабана...

— Не может быть... — обескураженно пробормотал Петька. — Он же хрипел уже там, в пригоне... Сдохнуть должен был...

Петька шагнул к двери, запнулся о круглый домотканый половичок, повернулся и закрутил головой, пытаясь сообразить, где его «мелкашка».

Ухватив обнаруженную за сундуком «тозовку», Завьялов направился было к двери, но вновь остановился. Водка брала своё, и Петька, поначалу растерявшийся от столь неожиданной напасти, стал наполняться хмельной бравадой:

— Ну, шас мы его уделаем! Слушай, дядь Вить, кабан-то раненый, слабый... Чего ещё раз стрелять? Повалим его, ты придержишь, а я кольну!

— Вот дал же бог... Надо же было связаться! — Годун отошёл к печи, потянулся к оставленной на припечке сигаретной пачке. — Конечно, чего из твоей «пукалки» стрелять... Люди, вон, из ружья долбанут и не бегают потом за поросёнком по огороду! Ермак у меня в прошлом году... — Виктор вдруг быстро прошёл во вторую, узенькую, половину кухни, отгороженную дощатой переборкой и служившую кладовкой для хранения инструмента да разного рыбацкого и охотничьего барахла. — Подожди-ка...

Годун вспомнил, что в прошлом году, когда Ермак резал поросёнка, они специально снарядили два патрона с ослабленным зарядом... Один патрон должен был остаться. Виктор выдвинул ящик небольшого самодельного столика и, покопавшись там, извлёк латунный патрон. Покрутил его в руке, шурясь... Вроде бы тот, другим в этом ящичке делать нечего, все патроны, к охоте приготовленные, в патронташе, что на стене висит...

— Давай уж из ружья, наверняка чтобы... — Виктор, вынырнув из-за перегородки, сунул Завьялову в руки найденный патрон и свою двустволку двенадцатого калибра. — Патрон вставишь, замок защёлкнешь — само взведётся. Предохранитель вот, вверх сдвигается... Шагов с пяти, не больше, стреляй... Иди! Я здесь побуду...

«Дёрнул же чёрт его напоить!» — ругнул себя Годун, увидев, как Петька вперился плечом в косяк, не вписавшись в дверной проём. Присев возле печки, Виктор закурил и, нервно затягиваясь, отвернувшись от окна, стал выжидать...

В огороде раскатисто, удивительно громко для ослабленного заряда громыхнул выстрел. Немного погодя, Годун встал и, подойдя к столу, посмотрел в окно. Кабан валялся возле забора, тут же, у забора, было прислонено ружьё, а Петьки нигде не было видно...

Когда Годун подходил к поросёнку, из пригона, в конце огорода, вышел Завьялов. Пошатываясь, бурча себе под нос, он, не задерживаясь, миновал Виктора и скрылся в кухне. Годун, недоумевая, осмотрел кабана, пихнул его в бок ногой, присвистнул, увидев большую с белыми сгустками кровяную дыру во лбу и, выругавшись, понёс в кухню оставленное Петькой ружьё.

Завьялов, уже успевший разлить остатки водки по стаканам, встретил Виктора какой-то странной ухмылкой:

— Ну, дядя Вить... За второго! — выпил стоя в один глоток водку и, сядя на табурет, стукнул стаканом об стол.

— Ты чего мелешь? Какого второго?

— А такого... Жахнул я поросю в лоб, ножиком тычу и соображаю, что первого-то следа от ножа нет! Я к тебе в пригон... Лежит кабан. А к себе из твоего пригона заглянул — нет моего кабана-то... — Петька хохотнул: — Во, дела!

— Постой, — замотал головой Виктор. — Что-то не пойму, ты что, хочешь сказать...

— Мой это кабан... Понял? Сквозь забор этот твой долбаный пролез! — начал злиться Завьялов, который сам только что начал полностью осознавать, что натворил. — Убьёт меня Светка!

— Как пролез? Кошка, что ли?

— А ты, что, дыру не видел? Да баба твоя, чтоб ей... Я, блин, калитку, однако, забыл в своём пригоне закрыть, когда кабана кормил. А Анна ведро с кормом у забора бросила... Учужал гад! А что там драницы на проволоке... Сдвинулись, когда он ведро чухал, вот и полез! Бок ещё, сволочь, до крови разодрал...

— Ну, ты даёшь! Глаза-то у тебя где были, когда стрелял?

— Да это же ты всё! — вскинулся Петька. — Поднял панику... Иди, мол, беги... Ружьё сунул... Я же видел, как твой-то хрипел в пригоне, подыхая... Сбил меня с толку!

— Сам хорош, — возмутился Годун. — Событийного кабана не узнал...

— Да как узнаешь?! Они же с виду одинаковые... И размера, считай, одного и без пятен оба! Да и бок у кабана в крови был, я и подумать не мог... — Завьялов почесал затылок. — От своего голову мне отдашь!

— С чего это?

— Ты мне ружьё сунул... И патрон «ослабленный»! Там голова вся разможжена!

— В упор стрелять не надо было, — смутился Виктор. — Нет, но ты-то куда смотрел? Ладно, я лишь через окно поросёнка видел, а ты-то вблизи... Блин! Работы из-за тебя ещё прибавилось!

— Да пошёл ты знаешь куда?! Я же ещё и виноват оказался! Сам слепой уже со старости... И вообще нечего было в кухне отсиживаться!

Злясь друг на друга, мужики двинули в огород — хочешь не хочешь, а дело делать надо... Повалили железную бочку, что Годун использовал летом для поливки, бросили на неё концы двух широких двухметровых плах, волоком, за уши и передние ноги припёрли поросёнка из пригона,

уложили на плахи и, приподняв лежавшие на земле концы досок, подсунули под них вторую бочку. Запустив паяльные лампы, начали смолить кабана, крутясь вокруг сооружённого помоста.

Работали поторапливаясь... Сжигали лампы щетину, соскабливали ножами вздувающийся верхний слой шкуры, ворочали кабана с бока на бок. Затем «зажаривали» поросёнка до черноты, до белёсых звёздочек, проступающих под огнём ламп на обугливающейся шкуре. Плескали, черпая из ведра ковшом горячую воду, отскабливали отмокший угольно-чёрный слой до нежной желтизны. Потрошили кабана, вываливая кишки в подставленную ванну, срезали сало, разделявали тушу на части... Возились сначала с одним поросёнком, потом со вторым.

Частенько устраивали перекуры, но надолго прерывались всего два раза. Сначала Петька дожидался окончания взбучки, которую Анна устроила Годуну, обнаружив забытую им на столе пустую бутылку... Затем Виктор успел погреться в летней кухне, в то время как Завьялов получал по полной программе от прибежавшей в огород Светки и за пьянку, и за кабана, и за все свои прошлые и будущие грехи...

Петька, пока смолили да разделявали первого кабана, ещё более-менее шевелился, а на втором совсем сдал... Бледный, вялый, он не столько помогал Годуну, сколько мешал, обессиленно топчась возле помоста. Паяльная лампа у него часто тухла, нож в руке не держался...

— Работничек... — цедил сквозь зубы Виктор. — Чего тормозишь, «горючка» закончилась?

У Годуна тоже весь хмель уже давно вылетел, зато в висках появилась сверлящая боль, объяснение которой он видел только в одном: недопил...

Когда, воспользовавшись дырой в заборе, кое-как стаскали мясо Петькиного кабана в завьяловские сени, соседи, расслабив натруженные спины, присели на завалинку стайки, возле которой разделявали поросят.

— Что делать-то будем? — спросил, закуривая, Годун. — Анна сказала, что раз уж мы пузырь раздавили, то и свеженину ей не подо что жарить... И так злая, а представь, я сейчас спрятанную бутылку достану? Да и Светка у нас в летней кухне торчит...

— Блин! А этой чего там надо?

— Чует, видно, баба заначку...

Завьялов матюгнулся, стал подниматься с завалинки, да, охнув, вновь плюхнулся рядом с Виктором:

— Чёрт! Башка трещит...

— Слышь, — немного погодя буркнул он, поворачиваясь к Годуну. — Эта стерва мне точно спокойно выпить не даст... Давай иди за бутылкой! За стайкой вон оприходуем да разбежимся...

Годун покосился на Петьку:

— Тоже мне, мудрец нашёлся... Это что, под забором да рукавом закусывая? Темнеет вон уже да примораживает... Пошли в кухню, что с бабами не разберёмся? Свеженина — дело святое...

— Ты Светку мою плохо знаешь. Она этого кабана ни мне, ни тебе не простит. Бутылку увидит — такой скандал устроит... Чтоб её в душу мать! — выругался Завьялов. — Тащи, дядь Витя, водку сюда. Ну, её, эту свеженину, раз такое дело... Я здесь отхлебну немного, чтобы совсем не помереть, а ты потом делай что хочешь...

— Ладно, — подумав, согласился Годун. — Иди вон, скройся за стайкой, там, где калитка на зады. Через неё потом и уйдёшь...

Виктор уже на сто рядов себя обкостерил за то, что связался с Завьяловым, и такое решение проблемы его вполне устраивало: «Сейчас отолью ему немного водки, — думал Годун, направляясь в летнюю кухню, — и пускай шурует, пока ещё чего-нибудь не начудил».

Анна со Светкой Завьяловой смотрели какой-то сериал, уставившись в экран маленького китайского телевизора, пристроенного на холодильнике.

— Закончили? — не отрывая взгляда от экрана, спросила Анна.

— Надо ещё бочки на место поставить да доски под навес убрать. — Виктор прошёл за переборку, загремел там лампами: — Это я лампы зашёл поставить, а так ещё повожусь немного...

— Совсем ум потерял... — Анна заглянула за переборку. — Куда лампы-то припёр? Бензином здесь вонять?!

Виктор отёрнул руку от шкафчика.

— А мой ирод где? — подала голос сидевшая за столом Светка.

— Петька-то? — Годун под пристальным взглядом Анны вышел из кладовки. — А ушёл уже Петька...

— Как ушёл? Когда? Собака же во дворе не лаяла...

— А он через дыру в заборе... Так что иди, дома его карауль.

— Нет, ну ты посмотри, тётя Ань. — Светка вскочила из-за стола, ухватила с сундука свою стёганую куртку. — Третий день пьёт подлец... Не иначе как опять по деревне собрался идти выпивку искать! Постой, — обернулась она в дверях. —

А разве у тебя, дядя Витя, водки нет? Чего алкаш этот на свеженину не остался?

— Откуда? Бутылка вон пустая стоит...

— Ну-ну... — Светка переглянулась с Анной. — Теть Ань, если этот гад мой вдруг здесь объявится, гони его в шею... А тебе, сосед, я еще попомню! Зачем Петра поил?! Господи, специально же поросёнка оставляла... Рос бы ещё и рос до весны! Зачем тогда картошки столько садили?! Пластались всё лето...

Дождавшись, когда за разъярённой, пышно-телой Светкой захлопнется дверь, Виктор вновь сунулся за переборку:

— Лампы в амбар приберу...

Добравшись до шкафчика, быстро зашарил рукой по полкам... Бутылки не было. Годун на несколько раз проверил и нижнюю полку, на которой прятал водку, и верхнюю, на которой бутылки быть никак не могло...

— Твою мать...

Виктор некоторое время растерянно озирался, затем, соображая, выскочив из кладовки, стал буравить Анну тяжёлым взглядом:

— Где бутылка?

— Бутылка? Вон, на столе стоит. — Анна равнодушно кивнула на пустую бутылку из-под водки, так и не убранный со стола.

— Анна!

— Ну, чего тебе ещё?

— Анна! Ты мне дурой-то здесь не прикидывайся... Бутылка где?!

— Дурой?! Да я дурочкой вчера была, когда ты мне сдачу отдавал и про хреновину какую-то для мотоцикла плёл, которую якобы купил... А сегодня пустую бутылку увидела, так сразу сообразила: стали бы вы всё до конца выпивать, если бы не знали, что под свеженину у вас ещё есть!

— Анна...

— Всё! Выпили сегодня уже своё! Это же надо было так глаза залить, чтобы ещё и завьяловского кабана по ошибке грохнуть! — Анна отвернулась к плите, где на сковороде зашипело мясо. — Готова, считай, твоя свеженина... Чего тебе ещё надо? Раздевайся давай и ешь!

— Анна! Говори куда спрятала! — разозлившийся в конец Годун пнул рыжего кота, который, увлекаемый запахом жареного мяса, лениво спрыгнул с дощатого топчана и направился было мимо Виктора к хозяйке. Кот, мявкнув, шмыгнул под стол, а Годун, приблизившись к Анне, погрозил: — Ты меня знаешь...

— Знаю... Губы помазал, так не остановишься! В холодильнике твоя бутылка стоит... И пускай там стоит до завтра! У нас, что, денег воз, каждый день водку покупать?

Годун хмыкнул, достал из холодильника бутылку, сунул её за пазуху и, ухватив со стола кусок хлеба и стакан, двинулся к двери.

— Куда это ты?!

— Да Петька там за стайкой... Помирает. Пускай грамм сто отхлебнёт...

— Петька? — встрепелась Анна. — Ты же сказал, он домой ушёл... Опять наврал! И что за человек, врёт и врёт... Самому-то не стыдно? А ну, дай сюда бутылку! Ещё алкаша этого поить...

— Да говорю же, грамм сто только... Человек дело сделал, как не угостить? Раскудахталась тут...

— Сделал?! Мясо кровяное, шкура полопалась... Ну, я устрою тебе завтра праздник! — Анна сдёрнула с плиты сковороду и грохнула ею по деревянной подставке на столе. — Вот что: или ставь бутылку обратно в холодильник, или вали отсюда хоть совсем... Пей там со своим Петькой или ещё с кем хочешь! Надоел уже... Замучил меня со своим поросёнком да с седьмым ноября!

— Даже так?!

— Давай беги... Не набегался по молодости? Может, опять старое решил вспомнить на седую голову-то? А не забыл, как тебя с врачихой этой драной тогда пацаны в её избе прищучили? Дверь ночью колом подпёрли?! Стыдобища! Помнишь, как утром у всей деревни на глазах из окошка полубовницы вылезил? Позорник! Тогда ещё выгнать тебя надо было...

Годун аж задохнулся:

— Ну... Ах ты!... — швырнул жене под ноги стакан и, выскакивая на крыльцо, со всего маху, в гнев, шматанул за собой дверь так, что она, ударившись о пазы косяков, вновь распахнулась настезь. — И чёрт с тобой!

Продрогший Завьялов, сидевший на корточках, привалясь спиной к забору, завидев Виктора, обрадованно подхватился:

— Принёс?

Годун, не глядя на соседа, распахнул калитку и шагнул к припорошённой снегом мостику через небольшой ручей:

— Пошли отсюда... Этим бабам что ни сделаешь — всё не так!

В наступающих сумерках Годун с Завьяловым продрались сквозь густой черёмушник, что рос за ручьём и, выбравшись к соседней улице, недолго думая, направились в сторону кочегарки.

«Вот ведь как всё покатилося, — размышлял Виктор, поглядывая на ковылявшего рядом с ним Петьку. — Чего, казалось, проще — найти забойщика, опалить, разделать поросёнка да расслабиться слегка под свеженинку... Так нет же,

всё кувыркком. По-хорошему, сидел бы уже давно дома перед телевизором, новости вечерние смотрел... Праздник завтра, а я из-за этого недоноска с Анной так некстати разругался... А-а-а, да идёт оно всё! Напьюсь сейчас, и будь что будет».

В кочегарке, когда распили бутылку водки и принялись за самогонку, которую взяли в долг у жившей неподалёку бабки Карабутихи, Годун, с каждым глотком всё больше мрачней, в конце концов окончательно с Петькой рассорился. Виктор, в пылу пререканий, припомнил Завьялову и злосчастный забор, и дрова, которыми в прошлую зиму Петька перекрыл подход к годуновскому двору, и берёзовый сок, который Петька ещё пацаном когда-то таскал из-под подрубленных Виктором берёз...

Завьялов уже еле сидел на стуле, но хорохорился и всё пытался дотянуться до Годуна через грязный, засаленный стол с огрызками хлеба и лука, извалянными в сигаретном пепле. Дежуривший в эту смену кочегар Вадик Евдокимов, хмурившийся на незваных гостей, однако и не отказывавшийся от наливаемой ему самогонки, каждый раз усаживал Петьку на место, а когда того уж совсем развезло, уволок и уложил спать за печами.

Лишившись объекта для вымещения своей досады, уже изрядно пьяный Годун переключился на Вадика.

— Вот ты, — с трудом ворочая языком, пристал Виктор к молодому, недавно пришедшему из армии и пристроившемуся временно в кочегарку парню, — вот ты знаешь, какой завтра день?

Евдокимов, служивший по контракту на Кавказе, многого навидался и, будучи парнем крупным, «накачанным», резким на ответ, поначалу просто едко отшучивался от нападок Годуна, а потом не выдержал:

— Слушай, дед, катись-ка ты домой! — обойдя Годуна, ухватил того сзади под мышки и рывком поднял со стула. — Или вон, к дружку своему под бок, ежели чего ещё можешь... Я вам там мешать не буду — развлекайтесь!

— Это ты что... Молокосос! Да я сейчас...

Вадик, которого, казалось, никакой хмель не брал, подтащил упирающегося Годуна к дверям и стал выталкивать на улицу:

— Напился, так нечего выступать... Повಾದились в кочегарку ходить... Алкаши!

В дверях Годун извернулся, цепляясь сильными руками за косяки, но ноги уже не слушались, подвели, и после толчка в грудь от крутолобого парня он полетел с невысокого крылечка, крепко приложившись широкой спиной об усталую щепками заледенелую землю.

Сходив за годуновской телогрейкой и шапкой, Евдокимов одно за другим швырнул ими в Виктора, нелепо ворочавшегося на земле:

— Забери рваньё... Что ты там мне про праздник плакался? Дурак старый! Да вы сами всё и развалили... Теперь твои начальнички-партийцы в бизнесменах да чиновниках ходят, а ты вон, как хряк полудохлый, в грязи валяешься... Да знаю я ваше «счастливое» время! Комбат наш, — скрипнув зубами, мотнул головой Вадик, — там, в горах, нам всё доходчиво объяснял... Пока жив был! Вы страну в задницу загнали, а нам сейчас расхлёбывай...

Униженный Виктор наконец поднялся на ноги и, сделав пару неверных шагов, уткнулся в уже запёртую изнутри дверь. Просто утереться и уйти не позволило возбуждённое алкоголем и обидой самолюбие. Сколько прожил Годун в деревне, а такого обращения с собой не помнил... Чтобы вот так вытолкали взашей... Его, Годуна?! И кто?! И от нанесённого оскорбления, и от абсурдной, несправедливой ситуации разум у Виктора вконец помутился. Схватив колун, что валялся возле листовничных чурок, набросанных у крыльца, Годун стал долбить им по двери, вбивая, итожа все свои сегодняшние неприятности и обиды:

— А-а-а, сопляк... — хрипел за всю жизнь никого пальцем не тронувший Виктор. — Выходи! Что, спрятался? Шкодник... Боишься?

Вадик и не такое встречал... Побелев лицом, он решительно распахнул дверь, отработанным движением вышиб у Годуна колун и, заломив руку, считай волоком, потащил пьяного мужика через дорогу. В узком проулке между двумя избами с уже потухшими окнами, с силой толкнул Виктора в спину, а когда тот завалился, не удержался и, озлобившись, несколько раз пнул, норовя грубым, тупоносым валенком угодить по лицу...

— Это тебе за сопляка... Старый козёл!

Понедельник, седьмого ноября, Годун весь день пролежал в постели. За плотной занавеской, что отделяла его кровать, стоял тяжёлый запах — Виктор использовал старый, проверенный метод лечения, прикладывая к ссадинам на скулах и к рассечённым бровям марлю, смоченную в собственной моче...

Когда за занавеску заглядывала Анна, то на все её реплики и вопросы Годун только скрипел зубами и отворачивался к стенке. Оставаясь один, он то откидывался на спину, тяжело вздыхая, то утыкался в подушку, то привставал, отпивая из трёхлитровой банки брусничный морс, тихо матерясь при этом сквозь разбитые губы. Боль, обида,

стыд, злость терзали Виктора, заставляя беспокойно ворочаться...

Часов в семь вечера к нему на кровать приехала Анна:

— Я приготовила там, в летней кухне... Иди поешь. — Положила руку на плечо Виктора, уткнувшегося лбом в ковёр с оленями. — Из конторы днём звонили... Сказала, что приболел. — Анна вздохнула. — Или тебе сюда принести поесть?

Годун молча дёрнул плечом.

— Ну и чёрт с тобой! — Анна встала и, уходя, в сердцах дёрнула, задвигая занавеску: — Лежит, морду воротит! Что, в глаза смотреть мне невозможно?! Или это я виновата? Ну и лежи...

Часа через два, вздыхая, бормоча что-то себе под нос, жена погасила свет и улеглась в спальне за перегородкой. Виктор, немного выждав, встал, нашарил у порога валенки, осторожно, держась за стенки, вышел из дома и, хватаясь за бока, проковылял через ограду в летнюю кухню.

В кухне на столе стояла бутылка водки. Рядом, в кастрюльке, остывшая толчёная картошка, на сковородке увязали в застывшем свином жире котлетки... В мисках лежали солёные огурцы, грузди, квашеная капуста, на противне, прикрытом чистым полотенцем, покоились пирожки...

Виктор долго стоял у стола, низко опустив голову, будто высматривал что-то на широких, с вытертой краской половицах, затем, сняв с вешалки и набросив на плечи телогрейку, вышел во двор.

Раскурив сигарету, Годун повернулся лицом к огороду. Холодный ноябрьский вечер был наполнен обычной деревенской тишиной. Тишина несла в себе шум леса за огородом, побрёхивание соседских собак, стрекотание трактора в конце деревни, приглушённые людские голоса, что изредка доносились со стороны улицы, позвякивание цепи, когда собакам отвечал от амбара Угнай...

Годун смотрел на освещённые луной верхушки раздвоенного листвяка и высокой сосны, что возвышались над тёмной полосой леса. Когда Виктору как молодожёну дали от лесопункта этот дом, он, помнится, так же стоял в первый вечер, наблюдая, как покачиваются верхушки вот этих самых деревьев... Сколько лет прошло, а что двуглавый листвяк, что густая, разлапистая сосна, похоже, нисколько не изменились...

Дом, ограда с амбаром и летней кухней, огород с ветхим забором, россыпь ярких звёзд над головой, спокойное дыхание готовящейся ко сну деревни — всё, что сейчас окружало Виктора, казалось таким привычным и неизменным... И от этой кажущейся неизменности у него сжималось сердце.

Морщась, кривя саднящие губы, Годун докурил сигарету и тихо, аккуратно прикрывая за собой двери, вошёл в дом. Лампочку в летней кухне он выключить забыл, и всю ночь в огород светило одинокое окно, за которым на столе, покрытом цветастой клеёнкой, застыл праздничный ужин...

На следующий год Виктор Годун кабанчика своего, как обычно, к седьмому ноября забил. Вставил в новую гильзу капсюль, всыпал половину мерки пороха, запыжевал, скатил с ладони в патрон картечь — три штуки в один ряд, придавил картонным пыжом и, прихватив ружьё, отправился в пригон. Шарахнул выстрелом в лоб с трёх метров и вонзил свалившемуся кабану в сердце охотничий нож. Делов-то...

Прижим

Вода плёскает о скользкие камни, толкает в дюралевый бок зачаленную у берега лодку, холодит ноги сквозь сапоги-бродни... Конец августа. Скоро в школу. Между камней, в затишке, увязая в речной пене, кружат жёлтые хвоинки.

Я отвожу за спину свой коротенький спиннинг и, поворачивая голову к реке, ищу взглядом точку, куда отправлю сейчас плавным броском тяжёлый поплавок с прикреплённым к нему настроем из «мушек». И замираю.

У дальнего берега, в самом начале плёса, подпрыгивает на валах под скалой яркое, красно-жёлтое пятно.

Пятно быстро приближается, и вскоре уже отчётливо виден плот с двумя большими, продольными вёслами на носу и корме. Маленькие фигурки людей в разноцветных касках и спасательных жилетах. Настил из жердей на автомобильных баллонах. Груда рюкзаков. Туристы...

— Эй-й-й! — несётся над рекой. — Далеко до деревни?

— Километров сорок! — кричит в ответ отец со скального выступа в конце плёса.

Плот уносит сильным течением за речной поворот, а ему на смену выплывают валы из-под скалы другую, такую же яркую, такую же таинственную частичку иной, непонятной мне жизни...

— Эй-й-й! Далеко до деревни?

Я выбредаю на берег, осторожно кладу на белёдые, гладкие камни спиннинг и иду к отцу. Сажусь неподалёку от него на каменный уступ, покрытый сбоку бледно-зелёными разводами лишайника. Задумчиво смотрю на вздымающиеся над рекой, поросшие глухой тайгой сопки...

Я знаю, что выше по реке можно подняться ещё километров на двадцать. Или на тридцать...

А дальше начинаются для моторной лодки непреходимые пороги.

— Па, а как они туда попадают?

Отец резким движением рук с поворотом всего туловища бросает блесну. Фырчит катушка, разматывая леску. Блесна, сверкнув в лучах ещё тёплого солнца, булькает в самой середине глубокого «котла».

— Кто?

Не поворачивая ко мне головы, отец быстро крутит катушку спиннинга. У его ног уже лежит два ленка. Пятнистых. Упругих.

— Ну, эти... Туристы. В верховья, в Тофаларию...

— А-а-а, — тянет отец. — Да по-разному...

Подтянув блесну к самому кончику спиннинга, щёлкает на барабане рычажком тормоза. Подходит и садится рядом со мной на шершавый уступ. От него пахнет рыбой и табаком. Толстый свитер, выцветшая «энцефалитка», высокие бродни сорок четвёртого размера. Из-под тонкого излома бровей весело шуряют серые глаза:

— Кого как туда черти несут... Кого на вертолёте, а кто через прииски «Уралом» да потом ещё пёхом...

— А зачем?

Отец пожимает плечами, выуживает из нагрудного кармана папиросу, долго разминает её. Чиркнув спичкой, прикуривает и, задрав голову к безоблачному густо-синему небу, выпускает струйку дыма:

— Красиво, говорят, тут у нас... Воздух, рыба...

— Они за рыбой сюда едут? Рыбачить?

— Приключения искать! Тонут вон, чуть не каждый год... Отдыхают.

Отец презрительно щурится, попыхивая папиросой, а затем, докурив, щелчком отправляет окурок в воду. Окурок затягивает в небольшой водоворотик, кружит и уносит в «котёл».

Я смотрю на тёмную, мрачную воду «котла», на поверхности которой возникают, расходятся, набегают друг на друга, и вновь исчезают пенные круги, будто и в самом деле здесь кто-то кипятит воду. Скольжу взглядом по волнистой, сизой глади плёса, что тянется от «котла» до высокой серо-коричневой скалы на крутом изгибе реки. Там прижим. И высокие валы от лежащих на дне огромных камней, когда-то отколовшихся от скалы...

Мы с отцом здесь только первый день... И ещё три дня нам, постепенно спускаясь к деревне, хлестать реку мушками и блёснами с утра до вечера, потрошить и солить по темноте хариуса, жаться к костру, кутаясь в телогрейки на смолистом лапнике...

Плоты с туристами скользнули мимо ярким пятнышком, выбив нас на мгновение из привычного обыденного ритма, и скрылись за поворотом. Завтра они уже будут в нашей деревне, первой и последней на их пути из Тофаларии. Туристы доберутся на стареньком, дребезжащем рейсовом «ПАЗике» до небольшого, грязного райцентра и уедут на поезде в свои большие города... В больших городах хорошо, красиво. Там высокие дома, трамваи, троллейбусы. Там магазины и рынки, где можно купить и рыбу, и ягоду, и орех...

Туристов у нас в деревне считают чужаками, способными на разные глупости.

Я вздыхаю и откидываюсь на спину. Солнце слепит глаза, и я, зажмуриваясь, прикрываюсь рукой, согнутой в локте.

Я открываю глаза. Встаю и, прихрамывая, медленно двигаюсь по скользко блестящим плиткам зала ожидания. После галечника, валунов и острых скальных обломков эта идеально ровная поверхность внушает опасение. В фойе вокзала остаиваюсь перед зеркальной стеной. На меня смотрит мужик с обветренным, почерневшим лицом, заросшим густой седоватой щетиной...

Высокое крыльцо, сигаретный дым. Качающиеся тени... Два деловито топающих по ступенькам милицейских сержанта, машины на привокзальной площади, пара длинноногих девиц в лёгких нарядах, редкие огни спящего городка...

В зале ожидания гора из рюкзаков, спасжилетов, чехлов с «костями», «шкурами» и «кишками» катамаранов. На полу, на «пенках» прокопчённые, усталые люди. Как и у меня, в их глазах отражениями прозрачных плёсов, брызгами перекаатов и валами бурных порогов, маревом тайги и отблесками костров колыхается Тофалария.

Я протягиваю руку крепкому, улыбчивому мужику.

— Договорились? — спрашивает он, крепко сжимая мою ладонь...

Скромный офис небольшого туристического агентства. Мягкие кресла, журнальный столик, иллюстрированные проспекты.

Мнимое-случайное посещение. Пока мой коллега по работе болтает с приятелем, рассматриваю рекламные картинки...

— В августе идем в Саяны. — Улыбчивый, жизнерадостный администратор ёрзает на стуле, поглаживая красно-коричневую лысину. — В Тофаларию...

Я откладываю проспекты. Настораживаюсь.

— Там красотища... Рыбалка! Группа будет большая, человек двадцать... Места ещё есть.

— А куда там идёте?

От названия реки сжимается сердце... Кружат, захлестывают воспоминания.

— Как будете «забрасываться»?

Да, конечно. Они придут в мой райцентр, они погрузятся на машины и, направившись по дороге в мою деревню, свернут потом в сторону приисков... Двести километров по бездорожью.

Мне не сидится больше в этом уютном кресле, я подаюсь навстречу улыбчивому мужику, мы смотрим друг другу в глаза...

— Договорились! — отвечаю, сжимая его сильную руку.

Я выхожу из офиса. В центре большого, миллионного города. Здесь хорошо, красиво... Здесь высокие дома, трамваи, троллейбусы. Здесь магазины и рынки...

Меня крепко прижало к каменным стенам этого города.

Поезд стоит две минуты. В тамбур летят рюкзаки, вёсла, спасжилеты, чемодан женщины, которую угораздило взять билет в наш вагон. Матерится проводница. Кричит «адмирал». Мы успеваем...

Поезд трогается. Освобождаем прижатого рюкзаками к титану и пропустившего свою станцию мужика. Расталкиваем вещи по полкам. Находим чемодан впавшей в истерику женщины...

— Вы из экспедиции? — смотрят на меня восторженные глаза взъерошенного паренька.

Я с удовольствием вытягиваюсь на плацкартной полке. Нет, мальчик. Мы просто отдохнули...

Я пытаюсь выпрямить ноги, но упираюсь ими в чью-то спину... Мои ноги, голова, руки, туловище в единой массе с другими телами, скрючившимися на дне кузова, подпрыгивают на ямах и ухабах таёжной дороги. Тент опущен. Ночь.

День. За «кормой» мощного «Урала» расходятся пенные волны. Вода полностью скрывает высокие колёса, бьётся о раму. Из-под отброшенного тента я наблюдаю, как на перекате медленно стягивает вниз по течению идущий вслед за нами «ЗиЛ»... Участок в пятьдесят километров по каменному руслу быстрой реки, зажатой меж сопков с сухостойной тайгой. Сорок бродов...

Вечер. В небо бьёт белая струя водомёта промывочной машины. Солнце касается вершины бледно-сиреневой скалы, скользит последними лучами по серым крышам бараков. На узкой дороге вдоль перепаханной бульдозерами долины

долго пятимся, пропуская «вахтовку» с «золотарями»... У нас опытный водитель.

Хмуро-зелёный перевал. Чум. Лошади. Каюры... Двадцать часов в железном кузове «Урала» позади... За перевалом река. Её бурные воды теперь для нас единственный путь вперёд, для того чтобы вернуться назад...

Я возвращаюсь на предыдущую страницу, кручу колёсико «мыши», увеличивая масштаб, и переключаю режим отображения карты «Google» на «спутник». Уже через месяц я окажусь там, где сейчас медленно скользит курсор «мыши», где на снимке из космоса, в окне монитора, русла рек кажутся линиями хребтов...

Магазины для туристов, охотников и рыбаков, «блошиные» рынки и барахолки... Экипировка, мотки лески, «мушки», поплавки, блёсна... Поздним вечером я застываю у компьютера, изучая карту «Google».

Я смотрю на карту, а вижу привокзальные киоски с нелепыми названиями и смешливыми продавщицами. Грудастые девки, высунув головы из амбразур киосков, рассматривают туристов с огромными рюкзаками на спинах:

— Тебе какой больше нравится?.. С красным рюкзаком? Вон тот, светленький? Да ну... Мне вон тот, с вёслами!

Стрелка курсора, подрагивая, сползает с названия станции. Передо мной пыльный щебень дороги, заросшие бурьяном поля, деревня, в которую мне уже давно не к кому ехать... Деревня, за которой вздымаются сопки и громоздятся горы, где вековые листвяки укоризненно покачивают своими одинокими верхушками, где река несёт свои прозрачные воды из Тофаларии...

Видео на You Tube. Пороги, прижимы, рёв воды... Катамаран ныряет с полутораметровой высоты в пенную кипень. Оседлавшие его отчаянные люди делают судорожные гребки вёслами, пытаются вырвать своё судно из «бочки». Картинки сплава пугают и притягивают...

Я уже не молод... Зачем? Я пожимаю плечами и ощущаю, как на конце лески ворочается, сопротивляясь, красавец хариус, как обдувает моё лицо свежий смолистый ветер, как прижигает озябшую спину жаркий костёр...

Откинувшись на спинку кресла, щёлкаю «мышкой». Я ещё здесь, в квартире на седьмом этаже, где за окнами улюлюкает сигнализация автомобилей, скрежещут трамваи, летит тополиный пух... Я уже там, где разлилась тайга, где взметнулись горы, где на прижиме тяжёлый поток воды бьётся о каменную щёку серо-коричневой скалы...

Чтобы вернуться назад, надо идти вперёд.

Нацелившись на жилку реки, увеличиваю масштаб карты, пока изображение на экране монитора не начинает расплываться на пиксели. В радужном пятне мне видится катамаран.

Полноводная река несёт катамаран мимо зелени островов и чёрных каменных осыпей с белопенными накидками из лишайника, мимо причудливо выветренных скал и солнечных сосняков...

Река успокоилась, угомонилась, лишь на её изгибах остаётся напряжение... Я убираю промокшие ноги с упоров и, вытянув их на баллоне, лениво шевелю веслом.

Мрачноватые верховья с глубокими мхами, тёмной тайгой и брусничными коврами, ущелья с ревущим потоком вздувшейся от затяжных дождей реки, тофаларский посёлок, за которым поднимаются снежные вершины... Позади.

Позади двухметровые валы, где скинуло меня с катамарана, и я, увлекаемый сильным течением, тянулся из последних сил к тонкому оранжевому шнуру «морковки», брошенной мне с берега... Позади прижим, где хрустнула моя щиколотка, вдавленная в скалу...

Тревожная ночёвка, когда нас разбросало по разным берегам, и не было вестей от отставших экипажей... Холодная стоянка на пустынном каменистом острове... Гостеприимная охотничья избушка с запасом сухих лиственничных дров и жаркая банька...

Надоедливый дождь сверху, ледяная вода снизу. Сведённые от напряжения пальцы рук на вальке весла. Стоянки, днёвки, ночёвки... Весёлые шутки возле костра под густой россыпью ярчайших звёзд. Рыбалка, двадцать литров спирта и потрясающее, суровое спокойствие природы, в котором растворяются, исчезают все никчемные мысли и чувства... Позади.

Вода плёскается на обливных камнях, толкает в тугой бок катамаран, холодит ноги сквозь на-

мокшие кеды... Конец августа. Скоро на работу. Между баллонов, увязая в речной пене, кружат жёлтые хвоинки.

Мы минуем лёгкий прижим, слегка покачиваемся на низких валах и выходим на спокойный, широкий плёс...

На берегу, рядом с причаленной моторной лодкой, маленькие фигурки людей.

— Эй-й-й! — кричит мой напарник. — Далеко до деревни?

— Километров сорок! — доносится по воде от скального выступа в конце плёса.

Я лезу в нагрудный карман за сигаретой, закурываю и смотрю, как под баллонами катамарана возникают, расходятся, набегая один на другой, и вновь исчезают пенные круги, будто кто-то здесь кипятит воду...

Сегодня нам целый день махать вёслами, пропуская удобные стоянки и рыбные места, чтобы успеть в срок к точке выхода с маршрута. А завтра будет деревня... Там мы разберём катамараны и, добравшись на стареньком, дребезжащем рейсовом «ПАЗике» до небольшого, грязного райцентра, уедем на поезде в сутолоку больших городов...

Берег с тёмными пятнышками деревенских рыбаков промелькнул мимо. Промелькнул я, промелькнул отец... Промелькнули все тридцать пять лет, отделяющие меня от тринадцатилетнего мальчишки, бредущего по камням к отцу, чтобы спросить: «А зачем?».

Люди на берегу ещё какое-то время будут смотреть нам вслед, а потом вернуться к своим простым, обыденным делам...

Я хорошо знаю, о чём они сейчас думают.

Я с ними согласен...

Но что мне делать, если жизнерадостный, улыбчивый мужик, потирая свою краснокоричневую лысину, спросит: «Договорились?». Если среди высоких домов-скал вместо шумной улицы с трамваями и троллейбусами мне вдруг привидится эта река?

Галина Целищева



Этим ветром, этим сном...

* * *

Взлетали вместе...
 Мир вокруг — безбрежен.
 Любовью
 назывался наш полёт.
 Ты был
 неистов,
 яростен
 и нежен
 и растопил
 предубеждений лёд...
 И был закат
 неимоверно алым,
 зажжённым
 от огня твоей души.
 И на закате
 сопка так пылала,
 что никогда
 её не потушить.

* * *

Тропинка заметна еле...
 Здесь торной дороги нет.
 Ты — свет мой
 в конце тоннеля,
 немеркнувший, яркий свет.
 Я Бога просила:
 «Мне бы
 коснуться судьбы судьбой».

ЦЕЛИЩЕВА Галина Ивановна родилась в д. Согом Ханты-Мансийского автономного округа. Окончила Российский педагогический университет им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, Литературный институт им. А.М. Горького, Высшие литературные курсы. Автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей России, кавалер Золотой Есенинской медали, лауреат литературной премии им. А.П. Чехова, член-корреспондент Академии Поэзии.

И бог мой
 спустился с неба,
 спустился
 и стал... *тобой*.

Ночь любви

Этим ветром, этим сном,
 пахнущим дождём и мятой,
 стрекозой лечу крылатой
 я туда, где стол и дом.

Стол венчает самовар...
 Разговоры все — в пол-уха.
 День с назойливою мухой
 в окнах — с видом на бульвар.

Говоришь, что ты влюблён
 не в меня, а в ту — другую,
 но я зря тебя ревную —
 только — голос, только — звон.

В доме том наступит ночь...
 День и ночь мне это снится:
 тихо скрипнет половица,
 а потом — родится дочь.

* * *

Утро.
 Вновь полоска неба
 в незашторенном окне.
 Верю я,
 что, где б ты ни был,
 всё равно
 придёшь ко мне:
 вверх

по лестничным пролётам,
не считая этажи...
Я сейчас без веры этой
не смогла бы дня прожить.
Хочешь знать,
как ты мне нужен?
Сердце плавится в груди.
Хоть на завтрак,
хоть на ужин
непрерывно приходи!
И прости за недоверье!
Ты обиды не таи.
И опять шаги за дверью
так похожи на твои!

Площадь трёх вокзалов

Я тебя собой не наказала,
ты — себя разлукой наказал.
И рыдала
площадь трёх вокзалов,
да Москва не верила слезам.

— «Ухожу — направо и налево!
С трёх вокзалов проводи меня!
Если полюблю — так королеву,
упаду — с арабского коня!»

Ты тогда
мне был всего дороже,
беспокойный, дерзкий дуралей!
Я снабдила картой подорожной
новоиспечённых королей.

Я прощу тебе
обиду эту,
пожалеею, — мол, сошёл с ума!
Зачеркну три стороны у света,
а в четвёртой — буду жить сама.

Вкус разлуки

Нам никто, наверно,
не поможет
возвратить надежды
прежних дней.
Твои женщины
становятся моложе,

я пугаюсь седины своей.
Для чего тоски
порыв внезапный?
Вместе нам с тобой
уже не быть.
Я любовь бы
выпила по капле,
а могу лишь только
пригубить.
Что же мне
останется отныне
от безумных,
сладких,
поздних чувств?
На ладонях —
горький вкус полыни,
на губах —
разлуки горький вкус.

* * *

Я за тобой
не закрывала двери...
Молила,
чтобы Бог тебя вернул.
Не страшно,
что меня ты обманул,
а страшно то,
что я тебе не верю.

Неразрывная связь

Бьюсь об заклад,
наверно, было б лучше
идти вперёд
и не смотреть назад,
в других влюбляться,
и не разбираться
бессмысленно,
кто прав, кто виноват.
Что жизнь одна —
заметить в оправданье,
что сладок вкус
нетронутой пыльцы,
и где-то за пределами сознания
в одно связать начала и концы.
Сварить кисель
и приготовить блюдце,
поставить поминальные цветы,

не выдержать,
и снова оглянуться,
и обнаружить:
всюду только — ты.

* * *

Как надо жить?
Не каждый понимает.
В сомнениях Гамлет:
быть или не быть?
Мой старый друг
меня не вспоминает,
а враг не хочет
обо мне забыть.
Но если я его обезоружу,
прощу обиды,
не попомню зла?
Открою двери и открою душу:
— Смотри, мой враг, —
душа моя — светла.
А у тебя —
поражена недугом.
Давай же крест
поставим на войне!

И станет враг мой
самым лучшим другом,
ведь только он
всё знает обо мне.

Единение

Шуршаньем камыша,
речной осокой,
закатным солнцем,
жёсткою травой
и даже чем-то
более высоким
навеки вместе
связаны с тобой.
Христовой кровью
и вселенской болью,
рождением в муках,
страхом умереть,
щемящим вздохом
и такой любовью,
что разлюбить
нам просто
не успеть!

Мария Четверикова



Ходит по небу троллейбус небесный...

* * *

Ни пустой строки, ни пустого дня —
время на руке закрутилось вихрем.
Милые часы, что Вам до меня?
Жизнь моя для Вас — краткий пёстрый
выхлест.

Сумасбродит снег, лезет в фонари,
но уже весна через две недели.
Набирают цвет волосы мои:
видишь ли, они инеем седели.

Ни пустого дня, ни пустой строки.
Сколько мне ещё плыть под небесами,
брать вершины и птиц кормить с руки?

На запястье жизнь — пульсом и часами.

* * *

М.

А ведь ты до сих пор не даёшь мне покоя.
Хоть манерность твоя и неискренность те же,
снова жизнь твою я примеряю одеждой
мне совсем не идущего, грубого края.
Утопая в зеркальном пространстве
сомнений,
где всё кажется зыбким и равновозможным,
я теряю себя и свою непохожесть,
отражая и не отражаясь, немею.

Но почти на пороге несуществований
что-то, вспыхнув, мне даст добела
раскалиться —
ввысь взметнусь я упрямой взъерошенной
птицей,
жадно жизнью дыша, наполняясь словами!
Всё отдам, чтобы только не стать мне такую
неживую, как ты, замеревшей кристаллом.
А ведь ты только в прошлом моём
и осталась...

Это я не даю своей жизни покоя.

* * *

Прости, я тебя обидела.
Что сделать теперь могу?

В разлуке, тобою невидима,
я sny твои берегу.
И в бурю, когда от всполохов
становится горячо,
тебя обнимаю холодом,
горю за тебя свечой.
В глазах твоих я увидела
желание отпустить.

Прости, я тебя обидела.
Прости.

* * *

Поили вечер фонари лимонным соком,
и разливалась тишина, стекая с окон.
Мы шли с тобою вдоль реки, вдоль снежных
улиц,
где все сугробы, словно псы, во сне
свернулись.

ЧЕТВЕРИКОВА Мария Валерьевна, 1986 года рождения. Живет в Омске. Работает клиническим психологом в КПБ им. Н.Н. Солодников. Автор поэтических сборников «Капель по Моцарту» и «Предсказание дождя». Член Союза писателей России.

Бесшумно таяла в снегах моя усталость:
мне этой зимней тишины так не хватало!

Мы шли с тобою вдоль реки в молчанье
полном.

И было страшно обронить пустое слово.

* * *

Полные ладони ветра —
донести, не расплескать
и выпустить дома,
чтобы до ночи
слушать рассказы
о дальних странах
и самой рассказывать о них.

А под утро —
ветер, я знаю эту тоску —
открыть окно.

* * *

Транспорт общественный, выставший
за ночь,
зимнему солнцу подставил бока.
Листья, забытые за зиму напрочь,
спят в своих почках-клубочках пока.

Солнечный свет с выси льётся отвесно,
ряби отгадка проста и легка:
ходит по небу троллейбус небесный,
мягко покачивая облака.

Он перевозит дожди, снеги-вьюги,
сны и в пути заблудившихся птиц.
Запахи лета привозит он с юга,
с севера — холод, тревогу — с границ.
Ночью — всё дремлет под звёздной бездной,
Хрупок как снег и как сон невесом...

Знаешь, по слухам, троллейбус небесный
скоро поедет за новой весной.

* * *

Училась говорить, теперь учусь молчать,
учусь считать часы и проживать минуты.
И кажется смешной давнишняя печаль
о том, чьего лица не помню почему-то.

Живу на берегу извилистой реки:
зима, весна, за ней — прерывистое лето.
Я к осени пришла другой — моей руки
не вырвать из твоей порыву злого ветра.

Синеет небосвод и бьёт осины дрожь.
Я заново учусь играть на пианино,
писать и рисовать, смотреть в тебя как
в дождь.
Бесшумных два крыла, прошу, не опали мне.

* * *

Маленькая хрупкая жизнь
на четырёх лапках.

Я кормила тебя молоком,
прятала от мамы,
когда нашкодишь,
рисовала простым карандашом
на листках из школьных тетрадей.

Ты обгрызала все цветы в доме,
не выносила панибратства
и спала, свернувшись клубочком,
на моей подушке.
Огромные голубые глаза...

Теперь у меня есть кошка
на небесах.

Татьяна Стрельцова



Тевризские сказки

Лошадиное копыто

Бабушка наша, всё бывало, нам наказывала: «Вот, ребяташки. Никогда человека не прогоняйте, если к вам ночевать просится. А то будет у вас, как у соседей наших. Давно было, конечно. Я ещё девчонкой была. А случилась как-то ночь осенью со страшным ветром да ещё с проливным дождём. Сибирская наша непогодь. И в такую-то слякоть студёную попросилась к нам на ночь пожилая женщина. Вся, помню, в тёмном. И в большую чёрную шаль, всю промокшую, кутается. А у нас принято в семье было никогда ночлежникам не отказывать. Грех, считали, отказать страннику. Вот и ту женщину сразу к столу пригласили. Всё мокрое с неё сушить у печи развесили. А ей шубейку старенькую погреться дали. Вот отужинала странница с нами. Бабушка наша ей с собой вместе, на печке, постель приготовила. Гостя так измучилась да намёрзлась, что, не дожидаясь приглашения, на печь влезла, улеглась. И в миг, значит, заснула. Потому что сразу с печи храп её раздался. Уж и храп это был, скажу я вам, ребяташки! Стёкла у нас в избе дребезжали, посуда в шкафу позвякивала. И храп какой-то нечеловеческий, с лошадиным ржанием вроде даже. Вот ей-богу! — крестилась бабушка в подтверждение своих слов. И продолжала: — А когда моя бабушка собралась тоже на печь лезть да спать укладываться, задела она невзначай шубейку, которой странница свои ноги прикрывала. Шубейка сдвинулась, и оказалось, что вместо человеческих ног у нашей гостыи — лошадиные копыта!»

СТРЕЛЬЦОВА Татьяна Тимофеевна окончила исторический факультет Омского государственного педагогического института им. А.М. Горького, Московский заочный институт культуры (режиссура), работала руководителем кружков в Доме пионеров, возглавляла Тевризский детский театр кукол. Смотритель Тевризского краеведческого музея.

И бабушка снова, истово крестясь, божилась: «Вот не хотите — не верьте. А своими глазами диво я это видела. Бабушка-то нас всех собрала на это подивиться.

Плохо нам спалось той ночью. Почти до утра вздрагивали от лошадиного храпа гостыи. А под утро как напал на нас сон: не слышали, когда и убралась от нас странница.

Даже бабушка — она почти у самой двери на лавке ночевала, — гостыи с копытами испугавшись, и она не слышала, когда и куда ушла поночёвщица.

Зато в хлеву, у кормушки нашего безотказного Серка, привязанная стояла невесть откуда взявшаяся молодая кобылка-красавица.

А у двоих соседей наших все их лошади в ту зиму пали. И к тем, и к другим, оказывается, наша странница в тот вечер ночевать просилась. Да только в тех семьях не любили незваных гостей пускать. Греха не боялись, видно.

А наша-то кобылка нам каждый год по паре жеребятков приносила. Не разбогатели мы, конечно. Но из нужды-то уж выбрались...»

Про страшную упряжку

Про самоубийц много всякого рассказывают. Ведь известно: проклята их душа, а люди всё с собой кончают. Как их понять, грешных? Тут, в наших краях, случилось давным-давно в одну зиму сразу два самоубийства: повесилась у попа супруга его, матушка тогда называли. А в другом селе дьячок с колокольни бросился. Чем уж им жизнь так не мила стала, никто не знает.

Разные слухи ходили и вроде затихать к весне стали, как вдруг новость: лучший в наших местах кузнец умом тронулся. Сидит, молчит, вострепнётся весь, креститься начнёт, молитву читать кинется да и опять затихнет. Потом вроде отошёл и рассказал, что ночью к нему барин какой-то

подъехал. Из себя важный, усы роскошные, одет богато. Золотом расплатиться предложил, если он его коней подкуёт. Кузнецу привычно, его в ночь-в полночь поднимают: у кого что в дороге случится — все к кузнецу, Кто же ещё починит-подкуёт? Так что всю ночь угли в горне горят. Только помощника в ту ночь он отпустил: приболел парень. Ну, один-то он тоже справлялся не худо, не впервой. А барин торопит: некогда, мол.

За золото-то, конечно, кузнец поспешает, барину угрождает. Глядит, а пара хороша: и конёк что надо, и кобылка в самый раз.

Да только кузнец собрался подкову примерить, ногу-то у конька поднял, так и обмер: лапа у коня человечья, след то есть. Он у кобылы ногу поднял — и у той подошва человечья, о пяти пальцах, розовая. А барин похохатывает:

— Ты куй, куй, не сомневайся. Грешники они, самоубийцы, помнишь дьячка да попадаю? Мне на них долго ездить. А они на льду скользят больно. Как же без подков? Поспешай, кузнец, — и золотом позванивает.

Света невзвидел кузнец, хочет бежать, а ноги не двигаются. Закричал бы — голоса нет. А руки сами всё делают, как надо. Вроде во сне, так себя чувствовал. Кончил ковать, а раз руки слушаются, он возьми да перекрестись трижды. Всё вмиг пропало из глаз. Очнулся: лежит посреди кузни, горн потух, холодно, светает уже. А следы к кузнице по свежему снегу хорошо видны: будто двое босиком бежали да за ними след от саней. А от кузницы следы-то уже с подковами и свежей кровью. Тут у кузнеца разум и помутился. Потом понемногу отошёл кузнец, успокоился. Но так всю жизнь временами задумываться стал. Задумается, потом встрепенётся весь. Перекрестится, молитву прочитает — и за работу скорей.

В хомуте

Я в детстве, помню, вдоволь на колдовство посмотрелся. Отец мой, дед Митька (все его в деревне так кликали), и сосед Иван колдунами были пресильными. Всё, бывало, спорят, чьё колдовство крепче. Соревнуются вроде. Вот в праздничный день один другому кричит (а дома как раз напротив стояли):

— Иван, айда ко мне на пироги.

— Не-е, лучше ты ко мне на шаньги, Митрий! Выходить мне неохота.

— А, неохота тебе, ну и сиди, как сыч, весь день! — И уж что сделает, не знаю, но вдруг бочка с водой, что у крыльца, под потоком, всю

жизнь стояла — аж в землю вросла, — вдруг эта бочка-громадина как из земли вывернется. И пошла-покатилась вперевалочку, да через дорогу. А у Ивановой двери встала, дверь-то подпёрла — выйди попробуй, сосед!

А тот тоже посмеивается: его-то колода, на которой он не один десяток лет и мясо, и дрова рубил, тоже с места сошла, да к нашему крыльцу подкатилась — и тоже дверь подпёрла.

Рассмеялись соседи по-доброму: мол, пошутили и будет. А колода с бочкой тем же путём да назад на свои места отправились. И встали, будто в гости не хаживали.

А то было как-то другое. Собрались невесту Иванова сына в соседнее село за другого парня отдать. Не хотелось, видно, с колдуном невестинной семье родниться. Иван с дедом Митькой перемигнулись. А жених со сватами уже у околицы бубенцами звенит: на тройке подъезжают. И тут вдруг им наперерез, из деревни прямо — два волка огромных. Лошади, ясно, на дыбы и в храп. Да вдруг как развернутся — и назад в своё село понесли. А волков как и не было вовсе. Зато стоят два друга-колдуна и усмеваются. А деревня-то вся высыпала свадьбу встречать. Вот и встретили. Ну, а невеста-то, понятное дело, за Иванова сына пошла. Кто же ещё осмелится сватать её после этого?

Насмотрелся я на такое вот да и решил:

— Так, мол, и так, тятя, — а отца у нас тятей называли, — хочу у тебя колдовству обучиться.

А он мне:

— Дело нехитрое. Ты послушай лучше, как другие этому учились. Вот мне как-то ещё в детстве рассказывали про такого же сына, что решил у отца колдовское умение перенять. Отец ему велел: мол, как помирать стану, ты гляди, не прозевай. Хомут приготовь, и, как мой срок придёт, ты голову-то в хомут сунь и смотри, что со мной будет.

Вскорости помирать его отец начал. А колдуны трудно умирают. В потолке матку — это брус, на котором все доски крепятся, — поднимать приходится, окна в доме открывают. Без того душа из тела не выйдет. Хоть год будет мучиться, а не померёт колдун.

Так вот, бабы к его жене собрались, котёл с водой кипит уже — покойника обмывать всё готово. Мужики матку в потолке подняли, а окна-то ещё раньше открыли.

Тут сын хомут в руки, сел за стол, голову в хомут и глядит на отца. А тот вздрогнул весь, вытянулся, душа, значит, отлетела. И видит сын, как во все окна черти страшные да поганые-препоганые полезли. Полна горница налезла. Толкаются,

визжат, шумят-радуются. Вынул сын колдуна голову из хомута — не видит чертей. Сунул снова в хомут — тут они, шалапуты. Налетели уж на покойника, кожу с него содрали ловко так, не попортили. Мясо вмиг сожрали, а кости в окна покидали, по всем окрестным полям разметали, резвились эдак. Самый большой да поганый чёрт влез в кожу колдуна и на кровати, на его место, лёг, будто покойник. А прочие черти разбежались. Поднялся тогда сын колдуна, принёс котел с кипятком. Да, молитву сотворив, в котёл крестик свой макнул. А после весь кипяток на то, что от отца-колдуна осталось, и вылил. Бабы-то все за ним в горницу вошли. Так у них на глазах всё и случилось. Чёрт-то на виду у всех из шкуры колдуна выскочил да с дикими завываниями в окно вылетел. Только и видели его. А хоронить пришлось кожу колдуна, прочего от бедняги не осталось. Вот она, колдовская судьба...

Больше уж я не просил обучать меня колдовству. А тятя мой помер вскорости. Да так помер, что все по сей день удивляются: сумел же! В первый день Пасхи с утра попарился в баньке. Вышел, на завалинку сел, велел самовар ставить. А как поспел самовар и мы его звать пришли, он помер уже. Так, под открытым небом, в ясный день, в светлое Христово Воскресенье. А кто на Пасху преставился — тот сразу в рай попадает, все грехи ему прощены.

Вот ведь колдун какой дед Митька, хитрый Митрий!

На солнечной стороне

Может, это и не совсем тевризская сказка получается. Но ведь со мной всё случилось, хоть и в другой области. А я-то тевризянка.

Приехала я в тот год летом к сестре в гости. Она тоже в Сибири живёт. Мне наши-то леса очень нравятся. Я и там быстро лес полюбила. Как лес тебе знаком стал — ты его уже и любишь, родной он уже. А приехала я к сестре потому, что разболелась сильно. Поняла, что скоро одна жить не смогу.

В то утро я рано за грибами пошла. Дом сестры от леса недалеко. И сразу грибные места. Вот я брела-брела по лесу, охотилась за грибами. И тут ложбинка на пути попала, по ней ручёёк течёт. Дальше я ещё никогда не ходила. А тут вдруг решила посмотреть: какой там лес за ручьём? Здесь как раз два камешка в воде, чтоб перейти и ног не вымочить. Перешла по ним и дальше отправилась. А лес сразу какой-то неприветливый стал. Деревья высокие, солнце застят, шумят что-

то недоброе. Вовсе уж назад повернуть решила. Да и грибов не видно.

Вдруг деревья кончились и большущая поляна открылась. Солнечный день в лесу, на большой поляне — это ж как праздник! И тут от опушки не вдалеке небольшой бугорок вижу. Подошла ближе, а это разрушенная землянка. Чувствуется, не ребятишки её делали, а кто-то знающий. Ладное было жилище. Охотник, верно, какой тут останавливался прежде.

А солнце уже палить начало. Утро кончилось. Я присела в тени этой землянки: хоть и не велика тень, а всё прохлада. Достала припасы свои, решила перекусить. И тут из землянки этой, из-под развалин откуда-то, большой кот появился. Пушистый, дымчатый, глаза зелёные — красавец. Важно вышел, не спеша. Сел недалеко от меня, взглянул и облизнулся.

Давай, говорю, присоединяйся. У меня разносолов нет: хлеб да яйца. Угощайся. И подаю ему. Кот подошёл и, так же не торопясь, есть начал. Доел, умылся и не ушёл никуда, а лёг и подождал, пока я с едой управлюсь. Тогда поднялся и, будто приглашая за собой, пошёл вокруг землянки. Повернулся, призывно мяукнул и за бугром скрылся. Пока я поднималась, он за мной вновь вернулся и опять позвал тем же манером: иди, мол, скорее. Я за ним и пошла. Вышла на солнечную сторону землянки. А тут, в двух шагах от неё, ложбина в земле. Как тарелка, только из песка она, а в середине этой песчаной тарелки струйка прозрачной воды пробивается. Родник открылся! Вот у меня на глазах эта тарелка водой и наполнилась. Кот головой в её сторону мотнул, будто отведав водицы предложил. А я так сразу пить захотела! Говорю коту:

— Спасибо, хозяин, угощусь с удовольствием! — Погладила его по дымчатому пуху, склонилась к воде и отвела душу. Вода зубы ломит, а я пью, не могу остановиться. Аж скулы свело! Еле насытилась, будто от жажды помирала. Но и вода вкусна, ох вкусна! Куда там лимонадам заграничным самым.

Ну, поднялась, наконец, с земли, коту поклонилась:

— Благодарю, хозяин. Даже боли мои унялись. Не иначе от твоей водицы! — Погладила его ласково опять по шёрстке и пошла назад. Как в лес входила — обернулась. Сидит кот и вслед смотрит. У меня душа не выдержала, я его с собой и позвала. А он пошёл, я и не ожидала даже, пошёл следом за мной. Так и в деревню вместе вернулись. Он за мной и в дом вошёл, как век тут жил.

Когда сестре рассказала всё это, она удивилась изрядно. И объяснила, что раньше жил

в землянке — это при царе ещё — охотник. Отрубеем его все звали, а почему, неизвестно. Кличка ли это, имя ли его, бог его знает. Вот Отрубей-то себе такого кота завёл. Рассказывают, от злых собак спас котёнка да в землянку и принёс: живи, мол, хозяином будешь, когда меня нет.

Так и жили. А родник возле землянки всегда был. Из него Отрубей воду брал. А как-то, уж и кот тогда состарился, не вернулся Отрубей с охоты. Сгинул — это в тайге часто бывало, во все времена. Кота добрые люди к себе звали, что одному-то в лесу бедовать? Не пошёл. А потом и кота не стало, и родник с тех пор закрылся. Кончилась в нём вода или ещё что. Но время от времени, если приходил к землянке в жаркий день добрый человек, встречал его точно такой кот и приглашал к роднику, который на глазах у того и оживал.

После этого все туда кидались, кто добраться мог: вода там больно целебная оказывалась. Ну, и снова родник закрывался на годы. А тому, кого сам кот угощал, завидовали. Любая болезнь у того человека вылечивалась без следа. Самая сила у той воды в первых струйках.

Выходит, повезло мне. Врачи и впрямь дивились, как это я поправилась полностью после тяжёлой болезни, да так быстро! Я им и не объясняла: решат ещё, что старуха из ума выжила. А кот у сестры не остался. Здесь он живёт, в Тевризе. Я его, грешным делом, иной раз Отрубеем называю. Ничего, не сердится.

Диво лесное

В тайге у нас чудес всяких полно. Но вот такого, как со мной приключилось, в тот год, когда я замуж вышла, ни с кем больше не случалось, однако. Муж с отцом своим и братом младшим в избушке посреди тайги жили. А про прежнего-то здешнего хозяина люди в наших местах говорили, будто он колдуном был. Тут он помер, могилка его здесь же, прямо посреди огорода нашего была. Но после смерти он никого не беспокоил. Да и при жизни грех сказать бы про него худое можно было: кого лечил, кого учил. Зря не баловал.

Я его не помнила: мала была, когда он помер-то. И страшно не было мне в нашей избушке. Да и за могилкой его ухаживала. Всё, как положено, уж раз живём тут. Вот и отблагодарил он меня, как смог, видать. А уж что с мужем приключилось, так и по сей день не поймёт никто. Ни к добру, ни к худу, а просто, похоже, с ним позабавился хозяин прежний. А было всё вот как.

Перед самой избушкой речка протекает. Наш-то берег шибко крутой. Так что по воду надо на другой берег ходить. Вот колдун-то и срубил давным-давно мосточек берёзовый, его все в наших местах белым мостиком зовут. Я по тому мосту каждый день воду носила. А как-то муж мне рассказал, что охотники здешние по мостику ходить остерегаются: не любит колдун того, кто зверя бьёт. Сам никогда мяса не ел. Ну и охотиться нужды ему не было. Вот он охотников-то на своём мосту и пугал всегда. И мужу моему от него доставалось, и брату его тоже — они оба охотничали. Свёкор-то старый уж был, хворал всё. А они молодые, для них главное дело — охота. Вот и ходили по мосту с оглядкой. А колдун-то за это и кричал им вслед на разные голоса, и стонал, и свистел. Бывало, и мостик под ними качался. А то ещё иногда запинаясь они на мосту, расшибались на ровном месте, будто там верёвка какая натянута. В общем, страшал их по-всякому.

А вот со мной до того дня зимнего ничегошеньки не случилось. Я даже любила по мосту ходить. Дошечки под ногами весело поскрипывают, ведёрки мои позвякивают. Хорошо!

А в то утро муж с братом рано на охоту собрались. Денёк морозный, солнечный, снежинки на дороге посверкивают. Вот они только перебежали на лыжах мостик, а тут — век такого не бывало! — заяц из кустов прямо на них выскакивает. Да большой такой! Муж даже ружьё схватить не успел, а заяц метнулся под мостик. Смотрит мой охотник, а под берегом — нора, и след заячий в неё ведёт. Не было тут норы никогда. Но про это думать ему некогда. Руку в нору сунул: тут заяц! Ухватил его за шкурку и давай к себе тянуть. А заяц и не упирается вроде, легко как-то идёт из норы. Раз! — и вытянул мой бедный охотник на свет чудо невиданное: шкурка белая, пушистая — заячья, уши — заячьи, а по виду змея, в руку толщиной и поболее метра в длину. Тут брат подоспел, глянул — и тоже обомлел. А заяц по-змеиному вильнул всем телом, вырвался — и в лес. Охотники за ним уже и гнаться не подумали. Пошли своей дорогой. Да только дичи в тот день никакой не добыли. Зато ещё одно диво повстречали.

Часах в двух ходьбы от избушки есть гора. Вся заросла невысоким ельником. Подходят мои охотники к той горе, а впереди них, среди ёлочек, мужичок идёт: в фуфайке, в ушанке, в валенках, мешок за плечами. Okликнули его охотники. Тот вроде оглянулся на них. А сам дальше идёт. Им интересно стало: кто такой? Незнакомый как будто. Догонять кинулись, кричат: подожди, мол. А тот шагает себе и всё. Вот уж догнали совсем,

а мужичок вдруг пропал. Оторопели охотники: что за чертовщина?

Тут брат младший обернулся и видит: мужичок тот уже внизу, под горой, шагает. Охотники за ним и опять уж совсем догнали, а он в один миг из глаз исчез. Что ты будешь делать! Смотрят на гору: там он, идёт как ни в чём не бывало. Решили тогда братья разделиться, младший внизу остался, а старший на гору побежал. Как стал опять мужика того нагонять — он и пропал снова. Глянул вниз — а мужик рядом с братом стоит, ухмыляется. А брат снизу кричит: мол, с тобой он рядом, вон-вон, правее той ёлочки, что повыше. Взглянул мужик — нет там никого. И даже следов на снегу, у той ели, нет. Давай он брату кричать да показывать на мужика: вон он где, мол, стоит, ухмыляется. А брат руками разводит: там тоже ни следочка. Поняли они, что это колдун им охоту портит, и решили возвращаться. Что ж без толку по снегу бродить? Обернулись напоследок, а мужичок стоит на горке да рукой машет: ступайте, мол, с миром, охотнички.

А у нас тем временем свое диво приключилось. Пошла я по воду, всё, как обычно. Только к мостику подхожу, а на мосту чудо: два маленьких котёнка (у нас таких не было) — чёрненький да рыженький — пляшут на задних лапках. А передними то возьмутся, будто за руки, то отпустят друг друга да покружатся, а то и вприсядку пойдут. Так расплясались! Засмотрелась я на них сперва. Но потом опомнилась да испугалась: что-то ведь нечисто тут!

А котятка ко мне всё ближе да ближе, у самых ног уже. Бросила я вёдра и бегом в избушку. Расплакалась, свёкру всё рассказала, трясусь от испуга. Успокоил меня свёкор и сам по воду отправился, он в тот день хорошо себя чувствовал. Но воды тоже не принёс: только к проруби подошёл, а лед под ним и проломился. Ну да он ещё совсем слабый был, сумел выкарабкаться и домой бегом. А тут ещё и охотники наши подоспели, про свои чудеса поведали, наши приключения узнали. И поняли мы, что не пустил меня хозяин прежний по воду, спас меня. Я ведь тогда дочку вынашивала и родила вскоре. Мне бы из той полыньи не выбраться. И ведь что придумал добрый колдун: котятки забавных на меня выпустил, видно, боялся меня сильно напугать.

Медведь в малиннике

В малиннике, за деревней, медведь помер. От разрыва сердца. А случилось-то это

так: пошла бабка Книжиха свою корову искать. В лес, говорили, её корова забрела. Видит бабка в малиннике, в гуще самой, лежит её Бурёна. Книжиха хворостину схватила и ну Бурёну охаживать:

— Куда тебя, окаянная, чёрт унёс?! Вот я тебя отучу по лесу шляться! Вот я тебя!!

А это не Бурёна её, медведь отдыхал, малины наевшись. Спросонья Мишка бежать бросился, да с рёвом! Книжиха с испугу не помнит, как в деревне очутилась. Бежит и во всю силушку голосит:

— Медведь! Спасите! Медведь!

Мужики — кто что мог — похватили и в малинник. А от малинника по лесу как дорожка из жидкого медвежьего помёта. Со страху с медведями всегда такое приключается, потому понос и называют медвежьей болезнью.

А в конце той дорожки, в кустах, мордой вниз медведь лежит. Неживой уже. От разрыва сердца и помер, со страху то есть.

Ну, а Книжиха, лучшая до того времени ягоdniца, с тех пор только с пустыми руками стала из лесу приходить. Ни грибов, ни ягод — ничегошеньки не дарил ей лес. Бабы судачили — это за то ей, что медведя зря погубила, хозяйина лесного. Не прощает природа бессмысленного зла.

Икона

На иконе был изображён Христос-Спаситель. Молились перед ней многие поколения прежде большой семьи. Но срок пришёл, и умерла последняя хозяйка. Семьи не стало. В доме, наглухо заколоченном, долго никто не селился. И молиться у иконы было некому.

Но однажды въехали в старый дом молодые хозяева, татары-молодожёны. Обустроились, знакомства с обитателями ближних домов завели.

И вот одна из соседок забежала в гости к новосёлам. Заскочила с мороза в тёплую жильё, поздоровалась. Огляделась. И икону увидела. Та по-прежнему в переднем углу красовалась. Удивилась соседка:

— Вы же в Христа не веруете, у вас Аллах, ему молитесь. Ведь так?

— Так, — кивнула молодая хозяйка.

— И ведь не положено вашего Бога изображать?

— Не положено, — опять согласилась татарка.

— А Христа почему не убрали тогда?

— Христос — ваш Бог. Но Христос — сын Бога. А нет Бога, кроме Аллаха. Значит, ваш Бог — сын нашего Бога, пусть висит.

Обидно и неприятно было слышать соседке такие речи. Расстроенная, ушла она, весь день ходила сама не своя и ночь без сна промаялась.

А утром, решившись, опять поспешила к новой хозяйке старого дома:

— Отдай мне, Соня, иконку. Нельзя ей у вас. В православном доме Спаситель должен находиться.

Но татарочка как-то виновато улыбнулась и показала на то место, где прежде висела икона. Там, на свежесмытой стене, виднелось чёрное обугленное пятно, как раз по размеру иконы:

— Ночью сегодня едва не сгорели. Проснулись от вспышки, пламя полыхнуло от иконы, и её не стало. Нельзя нам изображение Бога иметь. Аллах разгневался.

Соседка горько кивнула.

— Да, разгневался, потому, что вы Бога делить начали. Он ведь един в трёх лицах: Отец, Сын да Дух Святой. А ты чего завела: наш Бог — отец, ваш — сын. А святой дух у инопланетян, что ли? Эх ты, неразумная.

Возвращалась домой соседка с тяжёлым сердцем. Корила себя, что не настояла, накануне не забрала икону. Непростая она, выходит, из чудотворных... А поднявшись на крыльцо, вдруг увидела на верхней ступеньке ту самую икону. Спаситель улыбался, превозмогая скорбь, струящуюся во взгляде: любите друг друга...

Ватник с того света

Муж у Вали рыбак был. Сетей, снастей всяких для этого дела у него навалом. Теперь-то уж старый, поди. А может, по сей день до самого ледостава с реки не уходит.

Вот как-то по осени, перед самым снегом, собрался с мужиками неводить. На всю ночь отправились. В колхозе-то уж дел никаких, к зиме приготовились. Ну, а для рыбалки у них там сторожка на берегу. Припас необходимый заготовлен. Сами, конечно, во всё зимнее снарядились: у реки-то не жарко в эту пору.

Вот, значит, утром ранним-рано Валя проснулась от стука в дверь. Крючок только откинула — дверь настезь и распахнулась, холодом дохнуло из тёмных сеней. И в дом вваливается её муж. Мокрый с головы до ног, течёт вода с него. А глаза закрыты, губы сжаты плотно-плотно. И в лице, что называется, ни кровинки.

Муж, не замечая Валу, мимо неё шагнул в комнату и к кровати направился. Перепуганная баба ахнула да давай с него скорее промокший ватник стягивать. А муж всё такой же, неживой будто. Глаз не открывает, губ не разжимает, и синева над щеками. Причитает Валя. Ватник мокрый тяжёлый стянула, шапку с головы, такую же мокрую, подхватила и к печке бросилась — развешивать. «Сейчас, — кричит, — обожди, Николай, я тебя разую!» Развесила ватник у тёплой печки, шапку на печь бросила и бегом в спальню. А там нет никого. Она искать, звать мужа кинулась — а его след простыл. Хотя следы-то его мокрые у кровати хорошо видны: вот тут он протопал, тут Валя ватник с него стянула — целая лужа на пол натекла. А вот от кровати следов нет.

До утра Валя промаялась. А как корову подоила, к соседке побежала. Та, про Валины чудеса услышав, встревожилась:

— Ой, девка, худо ведь это! Что-то с Николаем случилось. Не утонул ли часом? Так-то вот только покойники с того свету приходят. Ладно ещё, что ты ватник да шапку забрала: самое верное дело, чтобы ходить не повадился. Мы с тобой после сжечь должны одежду эту. Как высохнут — мы их с молитвой да перекрестясь и сожжём, значит.

— Ты погоди хоронить Николая! — возмутилась Валентина. — Ничего ж пока неизвестно.

— Это так, это так, — согласилась соседка, — а только спроста ничего похожего не бывает. Дай, Бог, конечно, чтоб жив твой Николай вернулся...

А дома Валя только успела ватник на другую сторону перевернуть, чтоб подсыхал равномернее, как рыбаки наши подъехали к дому. И заводят под руки её Николая. Тот с трудом шагает, закутан весь в какое-то тряпье. Оказалось, он и впрямь, тонул сегодня. В тот самый час, когда Валу стук в дверь поднял. Николай сам так потом про это рассказывал:

— Тону — задыхаюсь, воздуха не хватает, а ватник снять не могу. Сознание терять начал и вижу, будто дома я. Обрадовался, прошу тебя: «Валя, ватник помоги скинуть». — Ты и стянула его с меня. Легко сразу сделалось. Ну и выплыл, не помню уж как... — дивились все на то чудо. Ватник да шапку рассматривали. Шутка ли: с того света вещи да и только!

В бане

После смерти свекрови нам с мужем пришлось переехать в её дом, а то свёкор затосковал очень. Да и с хозяйством ему самому не управиться. Мне

особенно на новом месте баня понравилась: просторная, светлая. Что горница в доме. Но в первую же стирку мне там невмоготу сделалось. Будто стоит и смотрит в упор кто-то злой и страшный. Руки отнимаются, ноги слабнут — чуть постирала. И так каждый раз.

А тут как-то иду баню затапливать. На одной руке несколько полешек берёзовых, а в другой — ведро пустое. Только дверь раскрыла, а у входа что-то барахтается: как две крысы больших, лохматых. Я, недолго думая, одну из них ведром и накрыла. А вторая, смотрю, поднимается, отряхивается... Боже мой! Мужичишка, с крысу ростиком, глазками на меня блестит весело и смеётся:

— Спасибо, хозяйюшка, спасла. Да и себя-то ты тоже не обидела, вот увидишь. Идём-ка. — И на лавку — прыг! — сел и ножонками болтает.

А одёжка на нём вся старенькая, латаная, серая — лохмотья, в общем. Я как онемела. Стою и шагнуть боюсь. Под ведром кто-то шебаршит и вроде ругается: «Чтоб вас всех разнесло-разорвало!». В таком вот духе. Еле я насмелилась дрова к печке положить. А старичишка на лавке подмаргивает:

— Пушай ругается, это нам не во вред. Да ты зря робеешь, хозяйка, садись со мной.

Я и села на лавку с другого конца, ноги-то не держат.

— Мы, хозяйка, дворовые твои. Начальство-то наше, домовый, он с вами в комнатах проживает. А мы с братиком, — и на ведро указывает, — во дворе да в баньке орудуем. Вот, говорят, мол, домовый гривы коньям заплетает. Как не так! Станет он за нас трудиться. Да он из дому и носа не кажет, всё мы. А у прежней хозяйки обычай был: молока надоит — нам с братиком оставит в чашечке. Баньку когда истопит, уйдёт, а нам венчик берёзовый запарит и велит: «Ну-ка, соседюшки-работнички, попарьтесь да порезвитесь, на меня не обидьтесь». Сами уж с хозяином после нас идут мыться. А как помоемся, завсегда, бывало, молвит: «Спасибо тебе, банька, за чисто бельё да за моё мытьё», — тогда и выходит.

А ты, видать, всех порядков не знаешь, вот браточек мой тебя и не залюбил. Совсем взъярился, решил нашу баньку сжечь. Подрались вот маленько, ладно, ты мне помогла.

— Да ведь я, — говорю, — могла и ему помочь-то. Я ж не выбирала, само вышло так.

— Так, да не так, — отвечает, — рука у тебя лёгкая, я давно заприметил. А лёгкая рука сама знает, что делать да как. Потому и не верил я братику, что без души твои дела делаются. Ты бы и сама додумалась, верно же?

Тут старичишка с лавки спрыгнул, ведро моё перевернул, и оба с братом, такие одинаковые, за кадкой с водой исчезли. Заглянула я туда — никого. Одно слово — исчезли.

С того разу стала я делать всё, как свекровь когда-то. Да ещё носочки для своих дворовых связала, шубейки, шапки да чуньки крохотные на них из обрезков овчины сшила. Да белья ещё две пары — чтобы после баньки чистое надевали. Смех с себя берёт — будто в куклы под старость играю. Зато уж в бане страхов никаких больше не терпела. И порядок во всём хозяйстве. Теперь вот, думаю, для домового тоже надо одёжки пошить: а то подчинённых нарядила, а начальника забыла. Непорядок, правда?

В овечьей шкуре

Тётка Анисья в деревне у нас была вроде колдуньи. Но ничего уж очень чудесного она, конечно, не творила. Хотя рассказывали про неё всякое. Один видел, как она соседского пацана, когда тот на её грядку с огурцами полез, огрела хворостинной: «Ах ты, кот шкодливый!». Тот от неё кинулся бежать да в кота и превратился. До вечера, мол, этот кот в её кустах прятался, а как солнце зашло, он опять мальчишкой стал.

Или вот как-то говорили, что она к соседке за мукой зашла, взаймы попросить, а та скуповата была. «Нет у меня муки», — отвечает. Тётка Анисья вышла из её хаты, обернулась да что-то пробормотала. У соседки мешок муки из кладовки бог весть как вдруг прямо на печной трубе оказался. А печь-то топилась как раз. Вся деревня тогда сбежалась: пожар, думали. Дымище из дверей, из окон валит, хозяйка на крыльце голосит! А Анисья из своей избы и не выглянула даже. Мужики, конечно, скинули мешок с трубы-то. А стряпать скупой соседке пришлось из копчёной муки. Долго в деревне над ней подсмеивались да шутили. И правильно, не будь жадной!

А кто-то в райцентре в больнице слышал, что когда тётка Анисья там со сломанной ногой лежала, то чудила и там. Из столовой пробка с графина всё время как-то умудрялась под её подушку «забраться». Нянечки уже злиться начали, но Анисья даже не улыбалась, а вроде сама недоумевала: ну как же это! Ведь вставать она совсем не могла, а палата её к столовой не самая ближняя была.

В общем, много занятного можно про неё услышать, про нашу тётку Анисью. Но вот что началось, когда подросла Гутя, её внучатая племянница, ещё в детстве оставшаяся без родителей, — это уж совсем чудеса.

Понравилась Гутя шалопаю Генке. Нет, он парень красивый, видный. Но один вырос у родителей. Отец бригадир, мать в магазине работает. Сыну ни в чём отказа нет. Шалопай и вышел.

Так вот, сколько раз подходил Генка к Анисьиному крыльцу, столько раз ноги мгновенно уносили его обратно за ворота. Прямо, как в кино, когда плёнку назад прокручивают. Топ-топ-топ — и опять Генка за воротами, матюгнётся и опять к крыльцу рванёт. А от крыльца снова пятками вперёд к воротам — и на улицу. Так ничего и не вышло. Сам бы он ни за что не успокоился, говорят, Анисья с ним о чём-то поговорила, он и сник. Смотреть в Гутину сторону перестал.

А Семён Гуте самой нравился, похоже. Серьёзный парень, добрый. И самостоятельный. Без отца рос, да с пути не сбился.

Семён в дом к Анисье не ломился. Всё у калитки Гутю, бывало, ждёт. С ним тоже Анисья о чём-то поговорила — люди видели. Но он, видать, не отступился, по-прежнему у калитки ждал.

Вот как-то вечером стоял он так же, на окна Анисьи посматривал. Тут парни на гулянье собрались, к нему подошли. Покурили, поговорили и отправились дальше, а Семён остался. Стемнело, но Гуте всё не было... Летом рано светает. Возвращались поэтому парни с гулянья уже засветло. Смотрят, а у Анисьиной калитки ягнёнок привязан. И такой хороший, чистенький, беленький. Парни потом все в голос говорили: как новенький. Взгляд только у него до жути человеческий и очень печальный! Жалобно что-то блеял, будто жаловался им. У парней веселье всё пропало, скорей по хатам разошлись.

А назавтра Семён рассказал им, что это его тётка Анисья в ягнёнка превратила, раз не хочет Гутю в покое оставить. Спас его конюх наш, Игнат. Подъехал и решил отвязать: чего животине ночевать на дороге-то?

Только он ягнёнка от забора отвязал — а вместо ягнёнка перед ним Семён стоит. Глянул Игнат, а в руках его не верёвка, которой ягнёнок привязан был, а воротник Семёнова пиджака. Чертыхнулся конюх да с испугу бежать бросился. Семён ему потом говорил, что конь за ним едва поспевал.

После-то парням Семён точно рассказал, кто из них что говорил, когда они ягнёнка рассматривали. Сомнений, в общем, ни у кого не осталось. Да и не те люди Семён с Игнатом, чтоб обманывать.

Казалось нам, что после такого Семён о Гуте думать забудет. А он на другой вечер опять у её забора стоял. Парням сказал, мол, убить не убьёт его Анисья. А так — пусть потешится, бог с ней!

Оценила, видно, это Анисья. Больше мешать не стала. Осенью свадьбу справили Семён и Гутя. Хорошо зажили. Анисью не обижали. Хотя кто её, такую, обидеть-то умудрится?!

О душе

Я в детстве, до школы ещё, помню, очень любила, когда к моей бабушке приходила приятельница её — Анна Ивановна. Голос у этой пожилой женщины мелодичный, говорила быстро, но не тараторила, а так, словно ручеек журчит. Глаза серые, ласковые, слова всегда приветливые, гостинец есть для меня. А главное — разговоры интересные: ведь старым людям есть, что вспомнить и рассказать.

Я в сторонке сижу с игрушками, вроде своим делом занята. А сама слушаю, слова пропустить боюсь. Как-то раз бабушка, помню, спрашивает гостью:

— А вот вы, Анна Ивановна, как-то говорили, что в молодости в Бога не верили. А теперь молиться стали. Это почему так?

— Ой, Татьяна Петровна, я ведь сама себя убедила, что Бог есть. Вернее, не Бог, а душа у человека. Собственными глазами я в этом убедилась, тогда в Бога и поверила.

— Это когда же? Расскажите, Анна Ивановна.

— А вот вы помните, как в старые годы у матерей ребятки помирали? Родит мать десять, а то и больше детишек, а выживут трое-четверо. Редко больше-то.

— Это да, помню, — вздыхает бабушка. А Анна Ивановна, подперев щёку рукой, продолжает:

— Вот и у меня рождались да помирали ребятки. А я тогда всё ещё в Бога не верила. Тут как раз сынок новорождённый у меня заболел, горит весь. А лекарства тогда какие? И докторов не было. Поняла уже, что и этого схороним. Соседки зашли навестить меня. Вот одна из них посмотрела на ребёнка и говорит: «Ты, Аннушка, хоть в Бога не веришь, а дитя своё пожалей. Как помирать станет — поставь около водичку в чашечке. Душе-то безгрешной умыться надо, как из тела уйдёт. Нетрудно это, сделай. Сама увидишь, как душенька умоется».

Ушли соседки, а мальчонка мой вскоре уже совсем ослабел. Дышит редко-редко, часует, как у нас говорили — последний, значит, часок доживает. Сижу над ним, и сил моих нет больше: и жалко-то его, и слёзы все выплакала. Он вздохнёт, а я следующего вдоха ожидаю: будет ли? И у кровати на табуретку чашечку с водой поста-

вила, как соседка велела. Хоть и не верила, что душа купаться будет, а слезу после каждого вдоха. Молодая была, вот и пересилил этот интерес даже беду материнскую. Дитё умирает, а я на воду поглядываю. Тишина в доме, и на улице — ни ветерка. И вот в этой полной тишине, в покое таком, вздохнул мой сынок ещё раз. А я на водичку взглянула. И вижу вдруг, что её поверхность всколыхнулась чуть-чуть, будто что в чашку окунули слегка. Я скорей снова на сына смотрю, а он больше не дышит. Помер... Ой, заплакала, помню. Да на колени упала и ну молиться, уж как помнила. В детстве то нас ведь молиться учили. С того самого дня я в Бога и верю. Раз душа есть у человека, значит, и Бог есть. Может, глупая я, а только поверила враз и всё тут. — Анна Ивановна замолчала. Бабушка моя, переживая услышанное, задумчиво кивнула головой:

— Да, вот ведь случилось как...

А я, забыв своих кукол, внимала наступившей тишине.

Шапка

Мы в деревню сразу после свадьбы переехали. Родных и знакомых там не было, вот и не кому было меня предостеречь. А дом нам дали почти на краю деревни, не старый ещё дом. И зловещего в нём ничего не заметно, а вот страху я поначалу натерпелась. Раньше-то в чертовщину всякую не верила, а теперь вот пришлось с ней даже бороться.

В первую же неделю и началось...

Метель, помню, к вечеру разыгралась. Идём мы с мужем из клуба и беседуем о том, что не сегодня-завтра мой брат должен на машине кой-какие вещи наши оставшиеся привезти. Переметёт дорогу, и не пройдёт машина. Жалеем его: в такую метель в дороге!

А навстречу вдруг наш сосед Степан бежит. Отдышался он и сообщил, что привёз из райцентра мебельный гарнитур, тот, что стенкой называется. А как там одному со сборкой-то управиться? Вот он Алексея моего и решил позвать на помощь. Кстати мы ему повстречались. Дошли до наших домов, и мужчины отправились мебель собирать. А я домой заторопилась: вдруг брат приехал уже, ведь прошёл же Степанов грузовик.

Подбегаю к воротам и вижу, как по ограде кто-то к дому идёт от калитки. Забор у нас высокий, так мне только шапка мужская над забором видна. Ну, думаю, брат это приехал. А у ворот-то сугроб снегу намело и ни следочка не видно: зна-

чит, давно уж подъехал да по ограде ходит, мёрзнет, дом-то закрыт.

Я через сугроб. Ворота едва открыла. Вбегаю в ограду — никого. И даже следа нет никакого. Но ведь я же ясно видела шапку над забором! Как так?

Открыла дом, вошла. Только хотела свет включить, а за окном, над забором, уже за воротами, значит, опять шапка мужская движется, идёт к нам кто-то. Приехал всё-таки брат! Я снова на улицу бросилась. Ворота распахиваю — никого. И следов вдоль забора нет, там, где кто-то в шапке шёл. Нет, понимаете?! Здорово мне не по себе стало. Однако держалась ещё, нервы-то молодые, крепкие.

Решила попутно дров набрать, уж коли на улицу выбежала. Поленица тут же, рядом. Набрала охапку дров, повернулась к дому, а впереди силуэт чей-то. Кто-то в длинном балахоне, и шапка-ушанка на голове. Тут уж я вовсе струхнула: следов-то этот в шапке за собой не оставляет. Мои валенки — вот они — видно, где протопали: и к воротам, и до поленицы. А других следов нет.

Силуэт этот, в шапке, в сених скрылся, всё так же беззвучно и бесследно. Ну, как я теперь в дом-то пойду? Бросила я дрова и дай бог ноги! Прибежала к Степану, трясёт меня всю. Насилу-то мать его, Фоминишна, успокоила меня. Да и рассказала, что до нас жила и умерла в этом доме Маня-шаманка. Травы знала, говорили, и колдовать могла, а ещё — превращаться в разных зверей. Рассказывали, что в молодости она жениха своего так перепугала, что ни он, ни другой кто не женились на ней. Жених-то испытать захотел, как это превращённым быть, ну, и она превратила его в козлёнка. Вот так жениха и потеряла. Он потом всю жизнь её стороной обходил. А она только усмехалась невесело, когда встречаться доводилось: что ж поделаешь, мол...

В последние годы голова у неё мёрзла всё. Вот она почти и не снимала свою ушанку. В платке её только летом в жару и видели. А то всё в шапке, в ней и умерла. Когда хоронили, кто-то из старушек хотел шапку в гроб положить. Да она задела-лась куда-то, не нашли.

— Вот, значит, — говорит мне Фоминишна, — и нашлась шапка: снова её хозяйка носит. Я-то сразу пугать не хотела, вот и не говорила вам про это.

Мне после таких слов совсем жутко сделалось. Не пойду домой, говорю.

А Фоминишна успокаивает:

— Ничо, ничо, сейчас я вот соберусь, мы с ней и сладим. А бояться неча. Она зла никому не делала, а теперь и подавно.

Пришли к дому. Фоминишна вперёд пошла. Икону несёт, молитву нашёптывает. Послала Степана вокруг дома с иконкой обойти. А сама всё молится. В сени зашли. Тут она какую-то сухую травку в жестянке подожгла и давай все углы обкуривать, да всё с наговором. Потом в доме все углы также обошла, везде пошептала. Иконку поставила на стол и убирать не велела. Помолилась ещё и ушла, мол, ничего больше не бойся.

А в кладовку-то мы с ней заглянуть забыли. И только через два дня, когда брат вещи привёз, я ту кладовку открыла, кое-что туда убрать. А там, посреди этой пустой кладовки, лежит на полу старая шапка-ушанка. Страх-то свой я раньше переборола. Теперь у меня хватило сил подойти и поднять эту злополучную шапку. Старенькая, потёртая, цигейковая шапочка. Сперва я её сжечь решила, да как подтолкнул кто, вспомнила: ведь Василий, пьянчужка местный, ещё в начале зимы шапку где-то потерял, мёрзнет в вязаной. Я ему эту ушанку и отдала. Ох и благодарил он! А на завтра с утра прибежал, шапку мне вернул, сам трясётся весь:

— Ты мне зачем? Ты поиздеваться, да?..

Так и не рассказал до сих пор, что с ним эта шапка сделала. Только вот спиртное он теперь совсем не выносит. Даже чуть-чуть по праздникам. Настоящий он теперь Василий-трезвенник.

А шапку я отдала учёному одному, он приезжал за ней специально: полтергейст изучает. Тоже благодарил меня за шапку. Только, видно, далеко увезти не сумел. Ушанка эта уже через два дня у нас на крыльце объявилась. Не хочет Маня-шаманка со своей шапкой расставаться. Закинула я ушанку тогда в кладовку, в самый дальний угол, пусть валяется. Вреда-то от неё никакого, а Василию так помогла даже.

Плач домового

Жила я в Омске, во время учёбы, у старушки одной на квартире. Имя хозяйки уже забылось, а вот рассказ её помню. Случилось это, когда высеяли их из старых развалюшек на берегу Иртыша в новые благоустроенные дома. Почти все соседи переехали, а моя хозяйка всё никак собраться не могла — время тянула, будто держал её кто на старом месте. Оно и понятно: хибарку-то старую они вместе с мужем строили сразу, как поженились. Теперь уж давно мужа похоронила, а домишко — вроде память о молодом её счастье. Легко ли бросить?

И вот решила, наконец. Вещички упаковала — собрала, чтоб на завтра быстренько их в ма-

шину погрузили. Сама села отдохнуть, в руках — вязанье. Сидит, вяжет своё рукоделье. Тишина в доме. День на улице тихий. Соседи разъехались, людей в округе нет. И вот в полном безмолвии слышит вдруг старушка — вроде плачет кто. Несколькими минутами прислушивалась: не показалось ли? Нет, плачет детским голосочком неизвестно кто. И кажется, прямо у неё на кухне. А дверь кухонная почти напротив кресла, где хозяйка отдыхала. Только голову чуть в сторону надо наклонить. Вот старушка потихонечку наклонилась, шею вытянула и видит: на подоконнике в кухне стоит у цветочного горшка кто-то махотный-малёхотный. Стоит и горько плачет, уткнувшись в кустик герани. Слезинки по зелёным листикам бегут-стекают...

Присмотрелась хозяйка: человек вроде, но весь сереньким, дымчатым таким мехом густым покрыт, под вид кошачьего. И ростом с кошку. Да уже не просто плачет, а причитать начал пружалобно:

— Ну, как же я-то? Меня-то никому теперь не надо... Пропадать мне пора... Ой, горе мне!.. Ой, кому я нужен тут?.. Ой, как жить-то?

Послушала старушка, сама до слёз беднягу пожалела. Тихонечко с кресла на пол опустилась, на колени встала. И совсем тихонько, в тон ему, тоже запричитала жалостно:

— Господи Боже, оставляю я родное гнездо. Жизнь тут прожила, а теперь на новое место под старость выгоняют. Кому я там нужна, как я там буду? Помогите, Господи. Пусть хоть домовой мой родной из этих стен, со мной на новое место переедет. Не оставь нас, Господь, помилуй... — вот так причитает, а сама прислушивается. Затих ведь голосишко-то из кухни. Зашебуршало там. Стихло всё...

Перевезли на завтра вещи хозяйкины на новую квартиру, а она сама бережно забрала из потайного уголка за печкой старую варежку, которую ещё вчера вечером там оставила, с причитанием:

— Домовой, батюшка, вот тебе тёплая лаптинка, полезай в неё, переезжать будем... Не прогневайся, родимый, тут тебе мяконько будет...

И как уж вышло, не знаю, но говорила мне хозяйка, что геранька та, в которую домовой её плакался, на новом месте стала белым цветом расцветать. А прежде-то розовым цвела. И цветы крупные у неё сделались. А когда увидела хозяйка, что кошка её от своих хворей вылечивается, едва листик с той герани пожуёт, попробовала тоже лечиться так. Загрипповала — понюхала белые её цветочки да вместо чая заварила и напилась. Болезни как не бывало. И старый свой радикулит чудо-геранью излечила.

Я от того кустика веточку в Тевриз привезла, выросла и моя геранька. Цветёт беленьким. Но лечить меня не хочет, как я за ней ни ухаживаю. Ну и бог с ней!

Зов леса

Страшно это, когда под старость дед какой или бабка, ума лишившись, из дома в лес убегают. В народе говорят у нас, что если лес такого человека позвал — то, сколько ни следи за ним, утащит его тайга. Всё равно сгинет несчастный. Вот так-то на моей памяти в Тевризе и в окрестных деревнях трое старух сгинули. А как с нашей прабабушкой такое же сделалось — убежала в лес, да хорошо хватились её сразу — тут я заперевивала, начала расспросы вести. Люди одно советуют: сводить, мол, её в лес надо. По знакомым местам пройдёт — вот душе и облегчение, значит. Да и натопаётся, устанет, сорвёт, в общем, охотку.

А одна знакомая случай такой рассказала. В молодости ещё, когда она в дальней деревушке работала, была там знаменитая знахарка Степанида. Ото всего излечивала любого, от которого даже врачи уж отказывались. Вот к Степаниде этой и приехали однажды сыновья деда Пётры. Все трое мужики самостоятельные, семьи у них большие. И уж дети взрослые у каждого. Вот возвращаются как-то из леса с возами, а отец навстречу бежит. Он у них уж давненько заговариваться стал да чудить по-разному от старости. Лет под девяносто этому Пётре было.

Ну, посадили его с собой, конечно, домой привезли. А он дня через три-четыре снова в лес побежал. Тут уж следили за ним все в семье — укараулили. Но сыновья встревожились не на шутку. Ведь зря люди не скажут, а про таких только и слов-то: тайга всё равно утянет, не усторожишь ни за что. А на их семье грех большой будет, если сгинет дед. Вот тут и соображай: ну, да Пётровы сыновья сообразили — к Степаниде отправились. Та им и посоветовала, чтобы свозили отца в тайгу да там с ним по лесу побродили, где он прежде-то любил хаживать.

Пусть, мол, дед идёт, где вздумает. А вы следом за ним идите, да с какого дерева либо кустика, мимо которых проходить придётся, по малой веточке отломите. Да чтоб с зеленью. Только уж как обломили берёзовый прутик — с прочих берёзок не ломать. И все другие породы — так же.

Вот после леса-то баньку велела протопить Степанида. Сама все сломанные веточки в ковше заварила, ровно чай какой. И велела вылить

отвар в ту воду, которой Пётру будут окачивать. Может, и пошептала что над этим ковшом. А как окатят деда водой, так сказать велела тихонько: «Лесное — в лес, а тебе — дома быть». Всё сыновья Пётры сделали по её указке. А заговаривала-то Степанида веточки берёзы, сосны, лиственницы, черёмухи да пихты. Окатили Пётру той водой. И помогло ведь! Не бегал больше Пётра в лес. Дома помер, как срок пришёл. Вроде с улыбкой даже, светлой такой. Зимой помер. А по весне, всем на диво, в ногах могилки его выросли пять деревцев небольших. Берёзка, сосёнка, лиственница, черёмушка да пихточка. Подарок, видать Пётру от тайги, которую он всю жизнь любил...

Выходит, есть спасение для нашей прабабушки. Не позволим ей сгинуть в тайге, спасём непременно. Жаль, не знаю, что там шептала над отваром Степанида. Да, поди, если молитву прочитать — оно и не хуже получится.

Нюсино счастье

В селе у нас мать Нюси ни ведьмой, ни колдуньей совсем не считали, но поговаривали, что она «немного знает». Ведь вот купили они дом умершей чернокнижницы здешней — их-то изба вовсе уж рассыпалась. А колдуньин дом никто купить не захотел, им за бесценно он достался.

Рассказывали люди, что по ночам чернокнижница по комнатам ходит, вздыхает, стулья переставляет. А в полнолуние можно её даже увидеть: входит старуха — вся голубовато-белым светится, — берёт любимый свой стул старинной работы и ставит его к окну, где всегда сидеть привыкла по вечерам. Садится бывшая хозяйка, глядит в окно, вздыхает. А то ходить по комнате примется. И тоже вздыхает да стонет: тяжело, видать, колдовской душе после смерти-то.

Нюся, как в тот дом въехали, говорят, тоже вдоволь этого насмотрелась. Но мать чем-то в комнатах подымила, покропила, молитвы почитала — унялась прежняя хозяйка. Только в Крещение да в Купальскую ночь появлялась. Но с этим уж, видимо, ничего нельзя было поделаться. Так и жили они. Тут Нюся подросла, невестой вовсе стала. Ладная девушка, красивая, видная.

И вот, под Крещение как раз, прибыл к ней со сватовством сын кузнеца. А непутёвый парень был! Никакого с него толку ни в чём нет. К учёбе неспособный, работать не любит, ничегошеньки не умеет. Зато собой ладный да приятный. Обхождение хорошее понимает. И тут пришёл — с подарками да с красивыми словами про любовь.

Нюся что и ответить не знает. А мать ей посоветовала: попроси, мол, до осени подождать жениха, а то как же, не подумав-то?!

Ночью Нюсе, конечно, не спалось. Тут в самый раз чернокнижика и явилась. Крещенская ведь ночь-то. Смотрит Нюся, как старуха по комнате топчется, всхлипывая. И так ей жалко колдунью сделалось. Она и спросила вдруг:

— Чем бы помочь вам, бабушка, а?

А старуха к ней повернулась и говорит глухо-глухо, как из ящика какого-то закрытого:

— Жаль меня? Себя жалеи. Ишь, жениха привадила! Натерпишься с ним. А вот в Купальскую ночь не поспишь — так, может, и мне поможешь, да и себе не навредишь... — застонала старуха и пропала. Луна как раз за тучку зашла. Нюся матери про всё это рассказывать не стала, решила до Ивана Купала подождать: что будет? И вот летом, в ночь Купальскую, в их садик, что перед домом рос, за ягодками залезли двое парней. Один-то кузнеца сын, жених, значит, Нюсин. А другой Леонтий, сын бобыля Ермила. Ермил — справный хозяин. Один, без жены, сына поднял. Спокойный, добрый парень вырос. Робкий только, вот его девушки и не замечали. А так — по всем статьям жених: высокий, стройный, пригожий, и годы подходящие. В хозяйстве Леонтий у отца всему выучен. Не чета, значит, кузнеца сыну-то. А вроде как дружили. Вернее, один Леонтий на гулянья бы совсем не выходил. А с другом, куда тот позовёт, ходил всё-таки.

Вот в ту ночь и оказались эти друзья в Нюсином саду. Как через заплот перелезли — потеряли вмиг друг друга. Кузнеца сын до рассвета по садику ходил, кричал, Леонтия звал — всё без толку. Туман-маревое какое-то вокруг, в нём даже крики его вязли, неслышными делались. С рассветом только развиднялось, и бедный парень забор увидел. Кружил всю ночь на одном месте по крошечному садику перед домом.

А с Леонтием другое в том же тумане произошло. Он тоже поплутал было маленько. Да вскоре дом увидел и окно раскрытое. А у окна незнакомая старуха сидит. Парень смущённо с ней поздоровался. Повиниться решил, мол, по глупости в чужой сад залез, а выбраться не могу. Но старуха по-доброму взглянула на Леонтия и спрашивает вдруг:

— Что, парень, невесту ищешь? Здесь она, в доме, — и подводит к окну Нюсю. А девушка уже давно парнишке нравилась, но после сватовства друга своего он о ней уж и думать не мог. А старуха незнакомая ещё спрашивает:

— Эту искал, Леонтий? — Ишь ты, и имя его откуда-то знает! Любопытно парню стало, он

и расхрабрился: «Эту!» — говорит. Тогда старуха к девушке обернулась:

— Каков жених, а? Лучше прежнего?

— Лучше, — кивает Нюся, глаза прячет, скраснела вся. Да радость-то в голосе не упрятать, слышно её. Довольна старуха:

— Ну вот, завтра же с отцом к невесте приходи, — голос строгий, а сама улыбается, — будете счастливы, и для меня покой настанет. А теперь ступай, Леонтий Ермилыч.

И всё с глаз пропало. Стоит парень у своего дома, чему верить — не знает.

Но утром, раз старуха велела, рассказал отцу, что надумал Нюсю сватать. Отец рад, конечно: хозяйка в доме будет. Ну, высватали, значит, Нюсю-то. Осенью сыграли свадьбу. А старуха-чернокнижница больше уж ни в Крещенье, ни в Купальницу не появлялась. Успокоилась её душа, значит, Нюсиным счастьем. Вот ведь как.

Чёртик из бутылки

Сам я — татарин. И жена, Гульфизар, тоже татарка. Обычная семья деревенская у нас. Но как-то так случилось, что Гульфизар экстрасенсом сделалась. Дар, говорят, открылся. Видеть невидимое для других стала, слышать голоса трав, цветов всяких. Вот начнёт летом травы целебные собирать, а они ей голоса подают: «Меня не рви, я ещё не созрела, сил лечебных не набрала». «А я набрала! Я созрела! Меня сорви!» — вот так, примерно, выходит.

И на кладбище тоже интересно получилось как-то. Женщинам ведь у мусульман входить туда нельзя. А у Гульфизар недавно мать схоронили. Так она по утрам корову в стадо отгонит и ко кладбищу завернёт: через изгородь на материну могилку посмотреть. И когда дар-то появляться начал, однажды, только она к изгороди подошла, — тут и увидела народ на всех могилах. И главное, женщин полно. Изумилась, конечно, Гульфизар. Да тут же и поняла, что там за люди: узнала некоторых. Односельчане ведь наши это, только умершие уже. Они на неё внимания не обращают, и мать её — тоже. Гульфизар решила, что так, значит, и нужно. Но тут, почти у забора, на свежей могиле, увидела соседа нашего, недавно схороненного. Стоит он, понурясь, на могильном холмике, а на шее веночек висит, что городские родственники привезли. Гульфизар не утерпела и спрашивает его: что, мол, так стоишь-то? Он ей и объяснил: раз не полагается по нашей вере венки на могилки класть, его и наказали за пода-

рок родни. Стой теперь и держи тяжесть эту круглосуточно. Гульфизар пообещала ему помочь. Да и бегом в деревню. К соседям этим, к родне умершего, прибежала, рассказала, что видела. Говорит: не верите если — как хотите. А веноч унесите с кладбища, не положено раз, не по воле Аллаха. Те её послушались, забрали веноч. И на следующий день сосед-покойничек, уже весёлый, благодарил Гульфизар через кладбищенскую ограду за избавление от «ярма».

Так вот всё и шло в жизни. Лечила людей жена, а я на неё удивлялся только: и верил, и не верил. Пока однажды не пригласили Гульфизар в город, где такие же экстрасенсы свою лечебницу открыли. Да всё на законных основаниях. И зарплата хорошая. Поехали мы с ней вместе.

И вот там, когда я ждал жену в коридоре, возле её кабинета, случилось, наконец, у меня прозрение. Женщина пожилая русская подошла, встала рядом. А Гульфизар говорила, что она сама, по сравнению с этой женщиной, как недоучка перед профессором. Думаю, раз такой экстрасенс великий со мной рядом, надо воспользоваться. И начинаю расспрашивать: как вот это Гульфизар моя мир астральный видит, ауру человеческую. Что же в себе развивать надо, чтоб тоже хоть что-то увидеть, как она? Русская эта мне в глаза внимательно заглянула и говорит: «Развивать бесполезно. Даст Бог — само придёт. А не даст Бог — хоть наизнанку вывернись, ничего не поможет. Да что я зря объясняю тебе — сам всё увидишь». И тут она меня за плечо к себе спиной повернула. Да изо всех сил ладонью вдоль спины как хлестанёт!

У меня в глазах прямо солнцем ярким полыхнуло. А русская эта женщина рассмеялась и в кабинет шагнула — двери как раз открылись. Гульфизар вышла, я ей это пересказал. Тем всё в тот раз и кончилось.

Но с этого дня начал и я видеть иногда необычное. Как-то сестра моя из соседнего села приехала в гости. Обедать сели, а сестра жалуется: что-то, мол, руки в запястьях сильно болят. Ноги тоже, но они-то от усталости, ходить много приходится. А на руки нагрузки большой ведь нет. Тут у меня вдруг само вырвалось: «От кандалов это. Всю свою прошлую жизнь тяжёлые оковы ведь носила. Как им не болеть до сих пор...».

Сам изумился своим словам, но знаю, что мгновение назад видел её в той жизни, с кандалами на руках и ногах. И сразу же голова сильно заболела.

С тех пор вот так и идёт: увижу что-то в «астральном плане» — и голова раскалывается, ничем её не унять. Гульфизар лечит и меня тогда. Так что я уж и не рад дару своему. Хотя жена говорит, что со временем научусь энергию свою контролировать, а не разбрасывать зря. И болеть не придётся, значит.

Ведь нет же головных болей, когда чёртиков вот вижу. Значит, уже правильной распоряжаюсь этой энергией. А чёртики появляются в любой бутылке, как только её откупорят. Пока закрыта бутылка — никого в ней нет, жидкость как жидкость. Но только открыли — их в ней кишмя кишит. Маленькие, сантиметра три-четыре ростом. Шустрые. Ну, чертенята, как и быть должны. Только каждый на свой манер устроен. Один, например, с гармошкой, другой с палкой, третий пляшет, четвёртый поёт. Свой характер у каждого. А по рюмкам разливают — в каждую точно по одному чертёнку попадает. Мне вначале, первые-то разы, просто забавным это казалось. Ну, интересно же. А люди пьют эту отраву с чёртиками и не видят их. Но мне пить невмоготу стало. Отхлебну чуть и отговариваюсь всячески, что нельзя мне больше. А однажды поехали мы с женой к её родне, с которой ещё никогда я не виделся. И вот там, в гостях, за столом всё это повторилось, как обычно.

Каждому по чёртику в рюмки разлили с водкой вместе. А одному мужику — соседу родни нашей — достался чёртик с верёвкой, с арканом ли... По второй налили — снова у него этот же чертёнок с верёвкой. Я рядом сидящего брата Гульфизар спрашиваю: «Этот ваш сосед, когда пьяный, он ничего особенного не вытворяет?». А брат жены мне в ответ: «Ещё как вытворяет. Его уже раз шесть из петли вынимали. Всё повеситься хочет...». Тогда я и понял, что чёртики эти мне неспроста видятся. Каждый во хмелю по-своему «хорош»: кто весёлый — поёт, пляшет, на гармошке играет; а кто буянит, дебоширит. Или вот петлю на себя ладить принимается. У каждого пьянчуги чёртик свой. В народе говорят: «Всяк по-своему с ума сходит». Я это теперь своими глазами вижу...

Светлана Курач



И, как листья, взметнутся слова...

* * *

Спелое солнце, река и клубника!
Лак для ногтей заалел земляникой.
Время для трав — высоких, душистых,
Мыслей весёлых и взглядов лучистых!
Время прогулок, энергии, света,
Время ценить кратковременность лета.

* * *

Неужели мне не избыть
Левитановской этой грусти?
И подругой Осени быть,
Ощущая любви послевкусье?

Пережит мой «девятый вал»,
Айвазовского стихли бури,
И я крепче держу штурвал,
Видя цель в голубой лазури.

Родом с моря, морской души
Я до дна никому не открою.
Под ногою листва шуршит.
Облака-корабли надо мною...

Корабли моих дней и лет
Пусть плывут — моё сердце полно!
Левитан, я люблю ваш сюжет.
Айвазовский, ценю ваши волны.

КУРАЧ Светлана Владимировна окончила Омский технологический институт, художник-дизайнер, преподаватель изостудии. Автор трёх поэтических книг: «Остров» (1999), «Древо» (2002), «Перевал» (2006) Дважды лауреат и обладатель Почётного приза Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого (2008, 2009) Дважды лауреат Городского поэтического конкурса «Омские мотивы» (2008, 2010). Член Союза писателей России.

Осенний вальсок

По заросшему берегу Омки
Я пройду по опавшей листве,
И осенний мотивчик негромкий
Зазвучит у меня в голове.

Закружатся, вальсируя, строчки,
И, как листья, взметнутся слова...
Растеряв запятые и точки,
Будет музыка снова права.

Омка блещет старинной монетой
Сквозь просветы ветвей и стволов.
Носит улица имя поэта,
Манит тайною старых домов...

Я, прохлады осенней подруга,
Прохожу мимо ставен резных.
Ах, качнуть бы мне юбкой упруго
На балу тех времён золотых!

И, пьянея душой своей русской,
(Понимаешь меня, ветерок?)
Я на улице Пушкина узкой
Напеваю осенний вальсок!

* * *

Как этой зимою снега хороши!
Так долго идут и так долго не тают.
И каждое утро — отрада души —
На солнце блещут дорогим горностаем.

Засыпаны тропки, и ты, как пингвин,
Опять открываешь свою Антарктиду...
Как хочется в лес! Там Мороз-господин
Деревья укутал и спрятал из виду

Все стёжки-дорожки и рек берега,
Крахмальные скатерти и покрывала
Везде разостлал...
Ах, снега вы, снега!
Хоть сколько идите, мне всё будет мало!

* * *

Пока открыто всё снегами,
Чиста дорога и душа.
Пока нет грязи под ногами —
Брожу и мыслю не спеша.

Не тороплюсь домой, покуда
Есть солнца свет и снега цвет.
Весна в Сибири нынче — чудо,
Конца и края снегу нет!

Смотрю на блеск алмазный наста —
И сердце — ёк! И в горле ком:
Такой же девочкой, как Настя,
Качусь я с сопки кувырком!

В комках ледышек рукавицы,
И так не хочется домой...
И весело щебечут птицы,
И синь в полнеба надо мной!

В снегу у нас ходы, туннели, —
Такая классная игра!
Пятёрка есть в моём портфеле.
И сладко спится до утра.

* * *

*Своему деду, Виктору Георгиевичу,
Своей бабушке, Татьяне Прокопьевне,
Посвящаю*

А баба не любила День Победы.
Мать говорила — плакала она.
Наверно, слишком жгла тоска по деду,
Которого убила та война.

Нет, ей не приносили похоронку.
Лишь друг поведал про последний бой.
Он помнил взрыв, контузию, воронку...
И потолок больничный над собой.

Искал он командира, сердцем веря,
Что встретятся, что нападёт на след...
Но справку «Безвозвратные потери»
Мне выдаёт сегодня Интернет.

А женщина, в нужде и притесненье,
Всё говорила: «Хоть без ног — приму!».
Пропавших без вести — о, горькое мученье!
Всё время ждут, у памяти в плену.

До правнуков жила, неся заботы.
Пока могла — трудилась на земле.
О, сколько ожидающих кого-то,
Из-под руки смотрящих, на селе!

Таких вот одиноких скромных женщин,
Двужильных, переживших много бед.
Без них в России было б света меньше
И никаких бы не было побед!

...Черёмуха цветёт, как наважденье.
И снова май — играй, гармонь, играй!
Пошли им, Бог, свиданье-утешенье,
Они всей жизнью заслужили рай.

Ачаирский монастырь

Медовый запах трав
С горчинкой чабреца...
Воздетых рук полёт
Святого Николая.
Я вновь поеду в храм,
Чтоб помянуть отца,
В тот храм, куда его
Когда-то привезла я.

Конечно, храм для всех.
И только для меня.
В нём есть родная тень,
И, зажигая свечи,
Я ощущаю тех,
Кого, в душе храня,
Я чувствую теплом
От бабушкиной печки.

Молитва

Дай мне лето прожить красиво,
Раньше времени звёзд не туши.
Дай здоровья и дай мне силы
Для моей крылатой души.

Дай мне, Господи, пониманья
Узловых моментов пути.
Помоги мне все расстоянья
И препятствия все пройти.

Я Тебе благодарна очень,
На судьбу свою не ропщу.
За любовь, за стихи, за дочек,
За Вселенную, что вмещу

В своё сердце. Ты дай мне видеть
Направленье, звезду, свой путь!
Дай мне... ближнего не обидеть.
Всё, что дашь, — дай мне сил
Вернуть.

Андрей Козырев



Среди звёздного света...

Земляничная поляна

Мне было от рожденья восемь лет,
Когда большими детскими глазами
Я видел яркий, золотистый свет,
Зелёный луг, украшенный цветами,

Шмелей, лесные травы без конца,
Цвет красных ягод, солнечные блики,
Улыбку мамы, ясный взгляд отца
И чувствовал вкус спелой земляники...

Я шёл с отцом по узкой тропке вдаль...
Но незаметно пролетели годы,
И взрослой жизни опыт и печаль
Меня отгородили от природы.

Вспоминанья навевают грусть,
Но в сердце всё же теплится надежда:
Когда-нибудь я в детство вновь вернусь
И буду чист и радостен, как прежде...

Я вспоминаю золотистый свет,
Вкус земляники — и невольно плачу...
.....
А на поляне светлых детских лет
Какой-то «новый русский» строит дачу.

КОЗИРЕВ Андрей Вячеславович живёт и работает в Омске. Автор поэтических сборников «Небо над городом» (2008), «Мелодия для луны с оркестром» (2009). Лауреат областной литературной премии им. Ф.М. Достоевского (2009). Лауреат областного конкурса им. П. Васильева (2009). Призёр городского поэтического конкурса «Омские мотивы» (2009 г.). Двукратный лауреат литературного фестиваля «Откровение» (2006 и 2008)

Инструкция для яблони

Будь стойкой! Поверь, ты всегда права!
Расти от лесов вдали!
Я знаю: в тебе до сих пор жива
Вся память моей земли!

Не бойся стоять в летний зной в пыли
И под дождём не грусти!
Пей соки великой твоей земли
И корни в неё пусти!

Поверь, ты живёшь на земле не зря!
Ты выдержишь с ветром бой,
Чтоб хмелем и радостью пахла заря
Над вечной твоей землёй,

Чтоб солнце дало тебе в жаркий день
На пальце каплю воды
И чтобы в корзинах простых людей
Алели твои плоды!

* * *

Ты знаешь? Ты помнишь? Мы видели это:
Как в тигле, волшебные плавилась звёзды,
по кругу летели над нами планеты,
и свеж был надземный разреженный воздух...

Ты помнишь, как мы доставали до неба,
как пчёлами звёзды над нами слетались,
кружили вокруг — и мы верили в небыль,
а все злоключенья земли забывались?

И мир на глазах у нас снова рождался,
сверкающий, трепетный, чистый, огромный,
и тот, кто вращал небеса, нас касался
руками своими, неведомый, тёмный.

Анна Ведерникова



Рассказы

Красный фонарь

Папа берёт старенькое одеяло и накидывает его на дверь ванной... Волшебство начинается, и хочется прыгать пружинкой от счастья...

Но папа, как назло, долго возится, сначала сворачивая рулетиком старое дедушкино пальто с барашковым воротником, затем выправляя наружу рукава и просовывая туда свои руки, — возится там не меньше трёх часов, ну честное слово, или даже уже весь день... Назначение дедушкиного пальто, конечно, только одно (носить его всё равно уже некому): участвовать в этом волшебстве, ну и ещё накрывать мамыны горячие банки с ярко-зелёными огурцами и малиновым компотом...

И невыносимо долго папа разводит какие-то порошки в тёмных бутылках из-под «Жигулёвского», потом заливает их в хитроумную чёрную кастрюльку и крутит пипочку на крышке кастрюли час, другой, третий...

Потом он кладёт на ванну огромную доску... это через лет пятнадцать Женька узнает, зачем она на самом деле нужна — чертёжная доска, а сейчас это просто смешное слово — видимо, от слова «чёрт» — как-то таинственно связанное с запретным папиным чертёжным прибором (там, внутри, спят в идеальных бархатных кроватках смешные железные человечки с длинными-длинными ногами, и один —

смешной, с кружком-пузом прямо в середине). Следом папа достаёт чёрный чемоданчик, скручивает какие-то трубочки, водружает похожий на чёрный самовар металлический шар, внутри которого скоро зажжётся лампа, и начнётся волшебство...

Вот оно совсем близко, потому что папа принёс в ванную табуретку и... закрылся! Папа! Папа! Пусти, а я как же?! Напрасно мама успокаивает, говорит, что папа просто проверяет свет, — пусти! Пусти!

Папа впускает, мама гасит свет в ванной, сквозь щели внизу тонкими полосками ложится свет из кухни. Папа открывает дверь, подтыкает одеяло, снова закрывает дверь и смотрит, нет ли щелей.

И опять это тянется невыносимо-пыточно-издевательски долго! Зачем столько раз запирается?!

И вот она — фраза, как «крекс, пекс, фекс», предшествует всем чудесам — «Неси стульчик», и сломя голову несётся Женька с детским низким стульчиком наперевес...

И папа раскладывает ванночки, наливает в них из бутылок из-под «Жигулёвского», и вот этот неповторимый запах, чуть кисловатый... Долго заправляет плёнку и наводит резкость на куске белой бумаги и наконец гасит свет в своём чёрном шаре-самоваре, и горит только одна красная лампочка в жестяном полукруглом футляре, на дне которого, конечно, живут малюсенькие человечки, а вместо окна у них огромное красное стекло во всю стену... Папа аккуратно распечатывает пачку, завернутую в плотный чёрный конверт, вынимает из неё лист, режет пополам, половину берёт себе, остальное прячет обратно. И кладёт бумагу под чёрный самовар, выключает красный свет... и вот в полнейшей темноте на краткий миг на бумаге

ВЕДЕРНИКОВА Анна Вячеславовна. Прозаик, лауреат премии им. Ф.М. Достоевского. По профессии маркетолог, окончила ОмГТУ. Публиковалась в журналах «Москва», «Литературный Омск», «Пилигрим», «После 12» (Кемерово), коллективных сборниках в Томске, Екатеринбурге. Автор книги «Поколение бархатцев», вошедшей в шорт-лист конкурса «Российский сюжет» (г. Москва). Новый роман «Внебрачные игры» и другие произведения можно прочитать на сайте: www.vedernikova.ucoz.ru

вспыхивает чья-то чёрная морда с белыми глазами, и снова темнота... и в красном свете папа хватается пинцетом бумагу и макает её в первую ванночку... Женька задерживает дыхание и суёт нос почти в самую водичку. Вдруг на белом проявляется чья-то чёрная шевелюра, глаза, нос, и вот уже всё совсем видно, но тут папа выхватывает бумагу из первой ванночки и кидает во вторую. Здесь наконец можно всё внимательно рассмотреть. Проступили через бумагу не просто лица и пейзажи, — кажется, в само прошлое открылось окошко, как в сберкассе, и оттуда на тебя глянуло знакомое и прожитое, именно такое, каким видел его ты, если, конечно, тебе повезло и ты в это время был с папой...

И вот чередой идут тётя Надя, дядя Николай, Митька с Кирюхой, Метёлкино, куда летом ездили с папой на поезде, и Тузик, присевший у высокого крыльца сфотографироваться с хозяевами.

И малюсенький Вовка, ещё в пелёнках, как кукла Олеся, ещё беззубый и такой родненький... Вот Вовка стоит в своей-бывшей-Женькиной кровати, вот ест кашу, уморительно измазанный до ушей...

И проступают одна за другой притёртые в памяти истории, и снова бережат воспоминаниями забытые места и лица, — оказывается, какая она длинная, маленькая Женькина жизнь! И за каждой картинкой прячется какая-то тайна, которую Женька вот-вот раскроет...

И стихает, успокаивается волшебство, и уводят спать заклевавшую носом Женьку, и не ведает она, что происходит дальше с папой, но знает точно, что произойдёт с ней наутро.

Наутро она вскочит первой и бросится в ванную. И долго будет возить руками по плечи в холодной воде, наполняющей ванну, и ворошить лежащие там стопками бумажки с гладкой и скользкой обратной стороной, на которой тётя Надя, дядя Николай, Митька с Кирюхой, мама и бабушка, и Вовка с мамой и без мамы, и Вовка с Женькой, беззубый и в пелёнках... И вдруг, удивившись чему-то новому, вытащит карточку из воды и, капая по всему полу, принесёт её маме в постель: смотри, мама! Смотри, папа! Что тут!!

И после завтрака будет юлить возле папы, слушая потрескивания в глянцевателе, глядя на то, как папа раскладывает на зеркальном металле карточки и раскатывает их резиновым валиком, и вода ручейками сбегает и по валику, и по металлу, и по столу... А впереди целый вы-

ходной, значит, не надо в школу, и мама с папой будут рядом весь день!

Это самое великое, что происходит с Женькой за последнее время. И она будет просить у папы фотографироваться — не для того, чтобы покрутиться перед камерой, а для того, чтобы когда-то обязательно повторились этот волшебный вечер и утро...

И как только, спустя много лет, папа разрешит взять ей свой давно заброшенный «Зенит» и объяснит, что такое выдержка и диафрагма, — Женьке ещё дай бог понять, чем же они отличаются! — Женька начнёт снимать направо и налево, и первые свои гонорары в детской газете будет тратить исключительно на плёнку, реактивы и бумагу, и будет в спокойной ночной тиши уже совсем одна проявлять в серой ванночке с кислым раствором морганиа теперь уже своих собственных глаз ...

И когда на юбилее детской газеты ей и ещё двенадцати юным журналистам мэра города подарит по недорогому «Кодаку», сама не заметит, как сменится её дорога. Сначала осторожно и очень редко, а через год уже почти без разбора будут заполняться цветные плёнки и шлёпаться в фотостудиях пачки фотографий, спасибо автофокусу, автовыдержке и прочим автотонкостям ремесла... Пропадут из продажи реактивы и фотобумага с серебром, кодаки и коники заполонят семейные фотохроники лет на семь, а после будут вытеснены цифровыми камерами, а папин «Зенит», фотоувеличитель, глянцевателе, ванночки и валики будут забыты в самом дальнем углу фототумбочки...

Но иногда Женька будет доставать тяжёлый альбом с тёмными страницами из плотного картона, где в чёрно-белом формате навсегда застыло её детство, её юность... Почему так тревожно смотреть на фото из детсадика, где она танцует в паре с каким-то мальчиком-зайчиком? Может, за минуту до того момента кто-то обидел её или пообещал несбыточное — этого она уже не помнит, но всегда эта фотография вызывает одно и то же чувство: странная тревога, вот-вот что-то вспомнится... Или вот эта ещё, где ей тринадцать, и семейному овчарёнку пять месяцев — два угловатых подростка, глядящих в камеру, которую в тот момент держал Вовка...

Эти фотографии ей всегда будут дороже цветных картинок последующих лет: студентка юридического вуза, сотрудник солидной компании, работа, работа, и редкий отдых по воскресеньям... И будет замирать перед чужими,

потрясающей красоты снимками дальних рельефов, лиц, городов... И будет до полуночи ворочаться, сама не понимая о чём, мучаясь какой-то необъяснимой тоской по когда-то не выбранной дороге...

Август моего солнца

1. хиппи

Каждое утро похоже на предыдущее, и все они вместе похожи на ту облезлую собаку, что провожает меня до общаги, и, пока я стучусь в дверь и переругиваюсь с вахтёром, пока выслушиваю маты коменданта, намертво приклеившего мне ярлык потаскухи, эта блудная псытина сидит на рассыпающемся цементном крыльце и молча метёт хвостом заплёванную серую площадку.

Всё, что было, остаётся за дверью вместе с плешивой собакой, а меня несёт вверх стёртая лестница, укладывает спать одеяло в застиранном пододеяльнике, оно же надёжно укрывает меня от суеты проснувшихся соседок. Они спешат на лекции и оттого ещё громче обычного громыхают чашками и чайником, жужжат феном и привычно ругаются на тему «Это моя помада, ты, дура, сама мне подарила... нет, подарила!». Наконец, шум стихает, в раковине остаётся гора невымытых стаканов, тараканы потирают лапки, а я проваливаюсь в сон.

Город — многослойный пирог, состоит из множества отдельных, не перемешивающихся друг с другом блинов. Нижний слой — наверное, бродячие собаки, которые живут своей полноценной жизнью, не обращая никакого внимания на нас, спешащих по своим делам... Они так же сбиваются в сообщества, спят и добывают пищу, гибнут под колёсами и замерзают зимой и, возможно, — как знать — оплакивают своих дохлых товарищей, ведь и для них собственная жизнь, какой бы собачьей, на наш взгляд, она ни была, — представляет немалую ценность...

Слой повыше — городские бомжи, те же самые бездомные псы, только когда-то бывшие людьми. Им нет дела до того, что творится в верхних слоях этого копошащегося торта муравейника...

А в верхних слоях происходят встречи, конференции и презентации, и вечно куда-то спешащие толстобрюхие и чисто выбритые дяди за

стёклами служебных машин думают о чём-то очень далёком, далёком от повседневной суеты семенящих с оптовки бабулек, гружённых мешками с луком или сахаром, от стремительно разворачивающихся и складывающихся торговых палаток на рынках, от напивающейся по ночам молодёжи, удовлетворяющей свои естественные потребности на улицах с такой ловкостью и бесстыдством, что собаки приходят в восторг... Мы ходим по улицам, вроде бы одновременно, но помеченные разной краской; мы с презрением относимся к тем, чей цвет краски не совпадает с нашим, не важно, из какого слоя пирога этот цвет... Солнце встаёт по утрам, и для всех это имеет значение, но, пожалуй, никто так не радуется его теплу так, как спящие на газонах по двадцать, пятьдесят; уходящие со своих далеко не тёплых мест, как только появляются первые люди, оставляя за собой только стойкий резкий запах — ушастые и мохнатые, текущие и ухаживающие, голодные и принимающие жизнь как должное участники одного бесконечного хоровода, имя которому — город.

Вечер только начинался. И начинался он отвратительно. Было скучно до визга, хоть разделись посреди площади. Какие-то бродяги пытались меня клеить, я посмеялась с ними, сидя на лавочке, а потом вскочила в подошедший автобус и отделалась совершенно неожиданно для них и для себя. Кондукторша в автобусе пристала с вопросом, ЧТО У МЕНЯ, а я отвечала, что у меня депресняк. Это её не устраивало ни в качестве платы за проезд, ни вообще по жизни: она излучала АБСОЛЮТНЫЙ оптимизм, и прежде всего — оптимизм в перспективе меня посадить. Но я имела своё мнение на этот счёт. И бог знает, куда бы меня увёз этот дурной автобус из моего упряма, если бы какой-то мужик не встрял и не уплатил за меня. Я вышла на следующей остановке вместе с ним.

Далее он пошёл быстрым шагом и своей дорогой, так что продолжения и истории не последовало. Говорю: вечер начинался отвратительно.

Я поторчала у киоска с пивом, продефилировала по двум магазинам, и только хотела попросить у одного кента сотовый, чтобы позвонить по какому-нибудь дежурному номеру, как этого кента под белы ручки взяли двое ментов и, ткнув кулаками ему под рёбра, повели к будке. Ненавижу ментов. Особенно тех, кто забивает практически трезвых мужиков в вырезви-

тели и потрошит их карманы. Волки уличные. Я бегом догнала процессию и бросилась «пострадавшему» на шею:

— Игорёк! Я тебя уже потеряла! Отпустите его, пожалуйста, это мой парень, я его сейчас домой отведу!

На этот раз я была оптимизмом, а менты противопоставляли свой цинизм. Победила дружба. Парень вытащил из бумажника полтинник, и городские циники отстали. Он обнял меня как родную и повёл к остановке. Для убедительности оборачивающимся нигилистам я продемонстрировала затаенный поцелуй, в котором парень принял участие с нарастающим интересом. Мы с полчаса выпивали друг из друга слюнявые соки, так что бабка на остановке громко, но как бы про себя, обозвала меня падшей женщиной.

Мы продолжали целоваться и в автобусе, так, что народ воротил морды. Вышли в центре города и уселись в каком-то уличном кафе с гремящей музыкой... Видимо, кроме уплаты налогов, в обязанности этих кафе входит отогревать прилегающие улицы ортодоксальной попсой... Пока мы пили пиво, подтянулись друзья моего Игорька (как его зовут, я так и не спросила, называла Игорьком, и всё тут). Откуда они взялись — непонятно, наверное, он позвал их по сотовому. Стало намного веселее, появилось ещё пиво...

Я когда-нибудь напишу об этом роман, это невыразимое сладкое время суток, когда зажигается множество огней вместо одного — естественного, и музыка закладывает уши, и слышится словно через вату выпитого пива, и прущее из солнечного сплетения желание всех обнять.

Все гадкие серые мотыльки слетаются к фонарям, и в их свете образуют живую паутину, и уже не кажутся такими пыльными, а золотятся и светятся, как сотня звёзд, спускающихся с небес.

2. яппи

...«когда-нибудь и этот день закончится», — повторяю я себе каждый раз, когда, выйдя из ЕЁ кабинета, падаю за свой стол и, отвернувшись к телефону так, чтобы никто-никто не видел моих слёз, начинаю дозваниваться несуществующему абоненту. Когда-нибудь, через несколько лет, если я и вспомню этот эпизод, буду тихо грустить над своей когда-то неза-

видной участью среднестатистического клерка и злорадно думать, как же здорово, что ЕЁ сейчас уже нет не только в моей жизни, но и среди среднестатистически успешных людей города. «Когда-нибудь и этот день...» — я каждый день, добираясь до работы почти часовой маршруткой, пытаюсь сложить эту строчку в стихи и понимаю, что на новой работе я совершенно потеряла поэтическое «вещество»...

И когда заканчивается «этот день», так щемяще похожий на все предыдущие своей суетой и бесконечно бьющей о лицо скамьёю, когда выключен компьютер, закрыты окна, жалюзи и двери, сданы ключи, — блаженный миг, когда я иду домой, завершив наконец очередной отчёт или программу, распечатав назавтра кипу служебок... В этот миг мир снова прорывается в меня своим многоцветием, своей полифонией и сложнейшей мозаикой человеческих костюмов, лиц и движений.

У кинотеатра, мимо которого я прохожу каждый вечер, встречаются пары: зелёные девчонки вдыхают подаренную розочку и, трепетно держа её в пальцах, направляются с кавалером к очереди в кассу... Всё как во времена наших мам: снова очереди в кинотеатры, снова юбки на девушках, и в моде горох, круглые носы туфель и пышные прямые волосы. Снова за стёклами уютных кафе встречаются студенты...

Я иду по шумной улице, я вдыхаю сладкий запах готовящегося попкорна, я не участвую в общем гвалте, но каждый вечер он подпитывает меня желанием жить и завершить наконец стихи про «когда-нибудь и этот день»...

— Девушка, можно с вами познакомиться, вот я тут сидел, и вы мне так понравились...

Это происходит почти всегда — я каждый вечер иду мимо гремящего уличного кафе, полного подпитых неудачников, у которых не хватает денег на нормальное пиво и постоянных девушек. Как и всегда — молча игнорирую, потому что стоит заговорить — и они уже считают, что девушка им обязана.

— Де-евушка, ну как же так? Ну посидите с нами, пожа-алуйста, — глотая гласные (видимо, другой закуски нет), нудит «ухажёр». Его компания за столиком кафе с интересом наблюдает. Среди них только одна девушка. Я прибавляю шаг, ныряю в оживлённый подземный переход и уже с противоположной стороны улицы, стоя на остановке, наблюдаю, как тот же чудик клеит следующую прохожую.

Ещё два часа — и я наконец упаду в сон.

— Если вы не договоритесь о размещении с завтрашнего дня, я вообще не знаю, что с вами сделаю! Это ваша работа! Всё, иди отсюда!

И я снова глотаю слёзы и прячась, от коллег, которые встречают меня соболезнующим взглядом, «сажусь» на телефон и снова набираю бессмысленные цифры.

ОНА ещё не знает, что с нами сделает, но я точно знаю, что наказание обязательно последует, и будет больно и главное — очень, очень обидно. Так же, как обидно сейчас. Потому что этому телеканалу мы должны кучу денег с самого апреля. И единственный довод, который может предложить моё руководство, — «мы очень крупная и серьёзная компания, второй по величине налогоплательщик в области». По ЕЁ убеждению, это должно вдохновить подрядчика на следующее размещение нашей рекламы, снова в долг, потому что каждый месяц бюджет маркетинга нещадно режется, и ОНА не прикладывает никаких усилий, чтобы отстоять оплату долгов.

— Алло, — слышу я из трубки: бессмысленный прессинг кнопок соединил их в неизвестный мне телефонный номер.

— Компания «Гамбург», — автоматически говорю я.

— Очень приятно, «Гамбург», — смеётся мужской голос. — Давно вас ждём.

Куда я попала, боже мой?

— Ваш прайс-лист не изменился? — зачем-то ляпнула я.

— Нет. Но если вы хотите, мы можем вам выслать ещё один.

— Вышлите, пожалуйста, — продолжаю я этот шизофренический разговор.

— Вам по факсу? по электронке?

— Лучше по факсу, электронку с утра не проверяли, и сейчас там два часа будет качаться спам. Всё так запущено. — Меня куда-то понесло, как Мэри Поппинс за зонтом.

— О, не у вас одних, — оживился голос. — Мы по понедельникам полдня стоим без работы, пока получаем почту и очищаем ящик.

— В девятнадцатом веке человечество всерьёз опасалось погрязнуть в лошадином навозе, — отчего-то произнесла я. — В двадцать первом веке мы утонем в электронном мусоре.

— Ничего, изобретут какой-нибудь новый агрегат, — рассмеялся голос. — Он будет работать на энергии, выделяемой человечеством от переваривания спама.

Пока я переваривала эту фразу, в кабинет стремительно влетела ОНА и, грозно окинув взглядом всех сидящих, зыркнула на меня:

— Ну что? Ты договорилась?

— Вы готовы? Стартую, — сказала я в трубку, нажала зелёную кнопку факса и ответила: — Их менеджер сейчас ведёт переговоры с начальником рекламного отдела. Я перезвоню им через пятнадцать минут.

Мотнула чёрной гривой и прогремела каблуками в свой кабинет. Она специально, что ли, покупает обувь на такой тяжёлой гремющей подошве?

Из факса медленно поползла бумага и тут же стала сворачиваться в трубочку. Куда ж я всё-таки попала? Может, когда-нибудь потом посмотрю на обратный номер, вычислю по телефонной базе. Когда-нибудь, когда этот день закончится...

Как только освободился телефон, я начала названивать на телеканал. Упрашивать, умолять. Человек, который ещё недавно работал на моём месте, называл эту функцию «придурак-попрошайка».

— Вы — самый лучший, самый рейтинговый канал. Он у нас основной в медиаплане, — что ещё можно сказать в ответ на «Вы должны нам полмиллиона»? Долгий и тяжёлый двадцатиминутный разговор, полный моих вздохов и извинений за свою амбициозную компанию...

И всё-таки я нашла ниточку, за которую можно потянуть. Самым действенным аргументом стало то, что «когда мы в этом месяце заплатим вам и те пятьсот, и ещё триста новых, это ж какая будет сразу куча денег!». И, клятвенно пообещав, под свою личную ответственность, что «вот буквально завтра начнём платить», я получила вымученное согласие.

Я влетела в ЕЁ кабинет, сияя:

— Они согласны, только если мы им в этом месяце всё заплатим!

— Заплатим, — ответила без тени радости на лице и выдала компакт-диск с новым рекламным роликом.

Я упала на свой стул без сил и решила, что сегодня перевыполнила дневную норму. Не буду больше ничего делать, вот только отвезу ролик на четыре канала и допишу отчёт о проведении Дня города.

На моей клавиатуре лежала свёрнутая в трубочку факсовая бумажка. Я развернула её. «Давайте встретимся сегодня вечером, — напи-

сал равнодушный факс незнакомым мне почерком, — у кинотеатра в 19:00».

С трудом я сообразила, что это тот самый «прайс», который я получала неизвестно от кого.

— Марина! — окликает меня голос на оставке. — Марина, я уже полчаса жду!

Совершенно незнакомый парень подходит ко мне и дарит батончик «Пикник».

Смотрю на него в упор, пытаюсь вспомнить... Наружная реклама? Сувенирка? Может, оператор с какого-нибудь канала? С подрядчиками общаюсь чаще по телефону...

— Я ж тебе сегодня свидание назначил, по факсу. Ну, ты меня не знаешь. Я в одной фирме работаю, в команде «Кэдбери». Любишь «Пикник»?

— А если бы работал в команде «54 метра», тогда бы мне бумаги туалетной презентовал? — усмехнулась я.

— А пошли в кафешке посидим? Или лучше знаешь куда? В «Сибирку»? Давай? За пять минут доедем.

Пока маршрутка везла нас в пивной ресторанчик, мы развивали тему «что подарит девушке супервайзер по водке, по компьютерам и по презервативам».

И, только усевшись за столик и сотворив заказ, я попыталась познакомиться.

— Ну, человек-шоколадка, рассказывай, откуда ты меня знаешь.

Он долго строил из себя Дэвида Копперфильда, а потом просто сказал:

— У тебя на лацкане бейджик, там твой «Гамбург», имя-фамилия и должность. Вот так, Марина Данаева, специалист отдела маркетинга. Я сразу понял, что ты за человек, когда в своей конторе трубку взял вместо секретарши.

— М-м, как интересно, — сказала я, снимая бейджик с пиджака. — И что же это ты понял?

— Что-то. Что тебе плохо. Ты чуть не разревелась, наверное, начальство наорало. Пока заказ принесут, ты съешь шоколадку. Там эндорфины — гормоны счастья...

Вечер закончился утром. Я так и не спала всю ночь. Наутро вызвали такси, прямо из «Сибирки», потому что я боялась опоздать на работу. Опоздание равно штраф, десять процентов от зарплаты.

Переев и перепив гормонов счастья, работать не хотелось вовсе. Но уже через

час, по исходу планёрки, настроение было совсем иным.

— Составить список вип-гостей на открытие ресторана, подать его к трём часам на утверждение директору!

Лошадь с хвостом на голове, — моя начальница, — как будто специально ночами выдумывала, как похлеще проявить свою ненависть к специалистам. Что мешало ей дать это задание неделю назад? А может, сей квест босс подал ей как раз этой ночью?

Обзвон трёх десятков секретарш примерно с одним и тем же идиотским вопросом «Пётр Иванович (или Мирон Наумович) ещё является главным санитарным врачом города (или председателем правления Плюмбумбанка)?» занял у нас с коллегами пять часов, на обеденный перерыв мы не ходили, потому что кушать таким бездельникам некогда.

За отработанный список, поданный в 14:45, мы получили по самые уши. Оказалось, необходимо уточнить в каждом офисе не только адрес, но и время, когда можно доставить приглашение, имя и чуть ли не год рождения офис-менеджера...

Вечером мы решили напиться до потери человеческой речи.

В конце рабочего дня я достукивала текст письма с рассылкой моего резюме, когда получила эсэмэс, где мне сообщали, что я самая прекрасная и что от меня пахнет васильками. Интересно, какой у васильков запах?!

Откинувшись на стуле, я отдыхала и тихо таяла от воспоминаний. Как наши пальцы терлись друг о друга, опрокидывая мысли и мешая разговору. Как, выйдя из ресторана, мы целовались без отрыва почти час, отчего пришлось вызывать такси и дальше смущать таксиста, впрочем, ему не привыкать... Весь день приходилось заглядывать в зеркальце, потому что казалось, что мне расцарапало всю шею его щетиной... Я заснула за столом, кажется, минут на двадцать, так крепко, что крик телефона не сразу смог привести меня в чувство: где я и кто все эти люди?!

Вечером мы всё-таки пошли в боулинг всей командой. Амуры амурами, но дух коллектива — это святое. Хмель подействовал мгновенно, и проснулась я дома с опухшими глазами. Кто-то довёз меня и передал грустной маме.

В субботу нечего и думать было об отдыхе. Открытие ресторана — праздник только для

тех, кто приглашён. Мы же — закулисные духи, без которых праздник невозможен.

Всё сразу пошло наперекосяк. Позвонили из агентства и сообщили, что заболела солистка, которую мы прослушивали накануне. Петь гостям будет неизвестная нам особа. Для подстраховки я попросила прислать двоих.

Аппаратуру привезли на два часа позже назначенного времени, поскольку застряли в пробке по поводу приезда какого-то важного перца в наш городишко. Заканчивали настройку уже при первых гостях...

Из настольных табличек, что вчера распечатывал дизайнер, три оказались с жуткими грамматическими ошибками; полчаса вызванивали Генку, талантливого дизайнера и законченного двоечника, чтобы он проснулся, добрался до офиса и там перепечатал заново...

Но самым непредвиденным оказалось то, что накануне трое новых официантов намертво переругались с администратором и не вышли на работу. И Лошадь ничего лучше не придумала, как надеть фартуки на маркетологов... Наталья Павловна, администратор ресторана, наскоро инструктировала нас, с какой руки подавать горячее и забирать посуду, при этом мы дружно натирали рюмки и фужеры льняными полотенцами. Что ж, полезное занятие — теперь буду знать, как добиться, чтобы посуда сияла и не цепляла следы пальцев...

В перерывах между накрыванием столов я бегала встречать приглашённых телевизионщиков. Два канала пришли вовремя, получили свои пресс-релизы и занялись своей аппаратурой, а ещё два привычно опаздывали и заставляли дёргаться.

Видя, что я присела на минуту и беседую с фотографом, Лошадь поманила меня пальчиком с дюймовым ногтем. «Когда генеральный будет говорить слово, пусть обязательно всё снимают. И ещё помоги Наталье Павловне расставить вот эти жёлтенькие шарики».

Ресторан стали наполнять представители городской номенклатуры. Пузатые дядьки с разномастными спутницами, молодые лоснящиеся мужики с жёнами, похожими на бабушек...

В вип-зале распевались солистки. Одна вроде бы ничего, голосистая, вторая вызывала большие сомнения.

Фанфары — босс сказал торжественное слово, ТВ торжественной шеренгой это отсняли, слегка прошлись по залу, и затем я усадила их за отдельный столик, ближе к служебной дзве-

ри, чтоб удобнее было сновать между кухней, гостями и своей прямой работой — связями с общественностью.

Дальше маятник стал раскачиваться с нарастающей скоростью. Кухня-гости-телевидение-кухня, и запомнилось только. «Эй, водки ещё принеси! Эй, девушка, нельзя нам побыстрее пельмени?! Девушка, а заказать можно?».

Я уже помнила в лицо всех гостей, их можно было перемешать, как колоду карт, — я рассидела бы назад с точностью процентов на девяносто...

На кухне кучкой сидели на корточках наши измотанные маркетологи. Женька ещё пытался по привычке балагурить, но кислые улыбки коллег ему очень мешали...

Гости уже танцевали, и кто-то дошёл до чая, самые воспитанные начали расходиться.

Я попрощалась с телевизионщиками (дежурной фразой «В понедельник ждём тексты на согласование!») и присоединилась к коллегам, высокопрофессионально убирающим грязную посуду с опустевших столиков.

Каменные ноги на автопилоте носили меня по привычному маршруту зал — кухня, голова уже и вовсе отключилась, желудок схлопнулся (гордость не позволяла подкармливаться с чужих столиков). Пока мы убирались, зал пустел, и через два часа мы убрали всё, кроме столика нашего босса, за которым сидели Лошадь и ещё двое гостей.

Тогда мы и сели наконец за самый дальний столик, где никем не тронутые стояли разносолы и уцелевшие бутылки. Мы накинулись на еду, как блокадные ленинградцы, и даже не заметили, как босс с Лошадью проводили последних гостей и подошли к нам.

— Присядем к вам, ребята, — сказал босс очень медленно, и маринованная кукуруза застряла с той стороны моего адамова яблока.

Лошадь привычно улыбалась.

— Давайте нальём, — предложил он, и Женька первым подхватил инициативу. — Хочу сказать вам спасибо. Вы сегодня всё очень хорошо организовали, вы крепкая команда. Молодцы. Спасибо.

Он ещё долго говорил что-то, слабо различимое сквозь громкую музыку, и Лошадь поглядывала на него, шевеля губами: «Давай поедем. Тебе хватит уже»... Свалили, — очевидно, в королевскую конюшню...

Когда закончился этот день, мы взяли такси и всей толпой поехали в клуб, где мы имеем

бесплатный вход, потому как спонсорим одну из регулярных вечеринок. Несмотря на каменные ноги, я упрясалась до одури. Наша дружная команда орала громче всех и сделала недельный план бару.

Он позвонил только через неделю. К этому времени я жёстко подседа на сигареты и абсолютно убедилась, что моя личная жизнь в очередной раз дала трещину: на две моих эсэмэс не пришло никакого ответа.

Только работа и помогала забыть. Первые два дня — это жёсткий прессинг при согласовании телесюжетов об открытии ресторана, потом — беготня с газетными статьями, обед за факсовым аппаратом и крики по телефону: «Третья снизу строчка — переделайте! Ждём вёрстку!».

Он позвонил и спросил как ни в чём не было: «Что вечером делаешь? А после работы? А это во сколько?». Он заехал за мной ровно в шесть.

Хотя заехал — крепко сказано. Его офис находился через забор от нашего, и физически расстояние измерялось десятками метров. Если обходить пешком — минут десять...

Мы ехали долго, больше часа, половину этого времени выбираясь из пробки и снова привыкая друг к другу.

— Ты хочешь есть? — спросил он.

Думала, снова достанет шоколадку, но он продолжил:

— Можно поехать в кафе к таджикам, там обалденный плов, но не очень презентабельно. Если хочешь — давай в «Гульден», новый ресторан открылся.

При слове «Гульден» меня охватила смеховая истерика. Пришлось объяснять, что почти неделю назад прислуживала там на добровольных началах. Он присвистнул и сказал только:

— Слушай, а что ты вообще делаешь в этой гнилой конторе?!

Его машина так и осталась стоять на стоянке у таджика, а я два дня не выходила из чужой квартиры — мы были вместе каждую минуту, напиваясь друг другом словно родниковой водой, и приходили в себя только от голода. Его глаза сияли, он плакал от счастья в мои волосы, а я пела ему давно забытые мной песни...

— Ты такая шелковистая, — приговаривал он, глядя мою спину. — Ты мой подарок. Знала бы ты, какой груз свалился с моей души — появилась ты, такая красивая...

— Ты сказка моя, — отвечала я, — сказка, которая выпала из давно забытой книжки, как старый жёлтенький рубль бир манат...

Он создан будто по заказу: мне нравилось, что его ладони тёплые и сухие, волосы и мягкие, и пахнут по-особому, по-домашнему; губы не по-мужски бархатисты и не обветрены, спина большая и мягкая, а мышцы рук наоборот — твёрдые, надёжные...

Мне нравилось целовать его в глаза, в сгиб локтя, в уголок подмышки с ароматом, по-кофейному крепким. Здесь, в партере, его лицо менялось неузнаваемо — именно таким я запомнила его. Здесь он был совсем другой — поэтому потом сложно было откровенничать с ним, одетым по всей форме, причёсанным, с рабочим задором в глазах.

Ни один из нас не решился задать вопрос: «Когда снова?». Мы так и расстались в полупоцелуе, и только его запах весь день преследовал, испаряясь от меня. Горели губы, и неудобно сиделось, а сердце колотилось на каждый звонок по мобильному.

Как в холодную воду, вошла в новую рабочую неделю — и словно приснилось мне его мягкое плечо под моей щекой...

К вечеру в понедельник пришло новое задание — срочно отчёт о призовой акции и письмо на канал: смените название передачи, поскольку это название зарегистрировано у нас, или попробуйте с нами «договориться».

Мы всем отделом бились лбом о столы, когда услышали о письме. Канал, который устал размещать нашу рекламу в долг, но всё-таки идёт на уступки, теперь должен ещё платить нам за какое-то идиотское название! Утончённое зверство нашей Лошади приобрело новый блеск!

Просидев на работе до половины девятого, съев четыре пачки чипсов (всегда их ем, когда остаюсь вечером делать серьёзную работу), я сложила на столе пачку служебных записок на завтра и вышла из офиса. Его машина стояла пустая на стоянке. Я подождала — вдруг он ждёт меня, просто отлучился? — и без результата отправилась домой.

— Ты, что, курила? — возмутилась мама. Значит, волосы пропахли — по дороге я выкурила штуки три.

— Мама, ты бы лучше спросила, где я шлалась три ночи!

Мама махнула рукой и через десять минут позвала есть борщ. Первая нормальная еда с четверга.

В среду вышли последние газеты со статьями про ресторан. Они лежали на моём столе ещё не прочитанные, когда по местному телефону Лошадь приказала «Зайди ко мне!» и в кабинете, грозно окинув взглядом, начала психологическую атаку:

— Кто писал статью для «Ведомостей»?

— Их журналист.

— Вы её читали?

Мы, конечно, читали её на пятнадцать раз, но, судя по вопросу, прохлопали что-то ужасное.

— Вы её читали, я спрашиваю? — Я киваю.

— Вы её с кем-то согласовывали?

Я припоминаю и начинаю сразу оправдываться (это Лошадь так на меня действует. У меня из рук падает ручка, потом ежедневник, потом чешется ухо, течёт нос).

— Статьи написаны на основе одного и того же согласованного с вами пресс-релиза. Разные журналисты их чуть подправили под формат газеты. А что случилось?

— А с Хитровым хоть кто-то созванивался? Идите, почитайте, — она почти швыряет мне газету. — Готовьте объяснительную: с кем согласована статья.

На мёртвых ногах доползаю до кабинета и открываю газету. Строчки прыгают. Знакомый, сотни раз прочитанный текст. И вдруг до меня доходит: «Владимир Хитров заявил, что прочие рестораны явно недотягивают до уровня «Гульдена»... Это явный скандал. Хитров владеет сетью ресторанов восточной кухни, и в таком ракурсе получается, что его рестораны тоже недотягивают.

Снова звонит Лошадь и требует меня. Ребята в отделе уже смотрят друг на друга с нарастающей тревогой, я показываю им пальцем злосчастный абзац и иду к Лошади.

— В общем, так, — многообещающе начинает она. — Маркетолог Хитрова только что звонил мне. Он намерен обратиться в антимонопольный комитет, будут выставять претензию нам и газете.

— Но мы-то при чём? Это же правка журналиста?! — возмущаюсь я, и зря.

— Какого, ля, журналиста, — взвизывает пыль до потолка. — Это вы, лично вы, на, пропустили этот косяк, весь ваш тссский отдел. Кто именно работал с «Ведомостями»?

Сейчас придётся выдать Алёнку. Она утвердила статью, согласовав её со мной по телефону, потому что я была на телеканале. Но реально

это моя оплошность. Надо было Алёнку отправить к Лошади, но та в день сдачи уезжала на дегустацию, ждать было просто некогда. Просто сплошное невезение...

Я говорю, что не помню, но виновата только я.

Прихожу в отдел и пишу объяснительную. И заодно заявление на увольнение. Ребята смотрят на меня широко открытыми глазами. Алёна пишет заявление. Её губы сильно дрожат. Она устроилась в компанию всего два месяца назад, и сейчас может вылететь с жутким треском.

Звонит Лошадь и требует Алёну. Уже догадалась. Я отдаю Алёне свою объяснительную, подкладывая снизу заявление на увольнение. Мальчишки тоже берутся за ручки и бумагу. Они сообщают, что не смогут работать, если мы уйдём. Мы очень нервно смеёмся.

Всё. Сегодня мы все умрем. Всё из-за какого-то Хитрова и его пиар-службы.

Звонит телефон.

— Что ты делаешь в пятницу? — спрашивает тот, кого я так ждала. Мне хочется уйти с работы в ту же секунду, даже не собрав вещи в сумочку, — и очутиться в его холостяцкой квартире. Но прямо сейчас я не нужна — нужна в пятницу.

— Думаю, в пятницу я буду совершенно свободна, — отвечаю я с едкой самоиронией.

— Что-то случилось? — беспокоится он.

— Случилось... — я коротко, по-деловому излагаю ему наш кризис.

Через минуту меня снова вызывает Лошадь, в двери мы расходимся с зарёванной Алёной.

— Это что? — спрашивает начальница, кивая на белый лист с моими каракулями.

— Заявление. Прошу уволить меня за то, что не справилась с обязанностями и спровоцировала конфликт.

— Забери это и порви. И запомни: никогда так не пиши. Что будем делать?

Она достала из тумбочки металлическую фляжку и сделала оттуда изрядный глоток.

— Ну, можно написать два письма: гневное в газету и Хитрову с извинениями.

— Вот и напишите, — отрезала она. — Вместо этой галиматши, — и резко отодвинула от себя моё заявление.

Вечером мы сочиняли письма. Для этого напились кто водки, кто пива. Письма вышли просто загляденье, запорожцы с турецким султаном отдыхают. Выразили благодарность пиарщикам

Хитрова за неуклонное внимание к нашим публикациям...

Что она сделала с письмами, мы так и не узнали. Были ли они отправлены или нет... Весь четверг мы прислушивались к грохоту каблуков за стеной. Не в силах заниматься чем-то менее важным, я перебрала все бумаги в столе. Нежные медленно и методично изорвала, на шестнадцать кусочков каждую.

Ближе к вечеру к нам зашла секретарша босса и тихо спросила меня:

— Вы с Хитровым точно всё уладили?

Сердце сразу застучало так, что зазвенели стёкла витрины в нашем кабинете.

— Он завтра назначил встречу с директором...

Такой тишины в нашем задорном маркетинге не помнит никто.

Остаток дня мы ходили по стенке, по одному доползая до туалета и обратно. По моему примеру Алёнка и мальчишки перебрали все свои рабочие документы, втихушку составили и разослали резюме, и, конечно, каждый держал на последнем развороте ежедневника перевёрнутое лицом вниз заявление на увольнение...

Наутро в пятницу мы совсем не смотрели друг на друга. Алёна была блее сметаны, которую мы с трудом пропихивали в себя в обед...

Под нашими окнами припарковалась машина Хитрова, её номера я почему-то запомнила на всю жизнь: три буквы «О», два нуля и посередине — единица как «фак» всем нам, всем хана...

Первые сорок минут его визита где-то на соседнем этаже мы сидели, вязко глядя перед собой в пустоту.

Когда он уехал, ещё с час мы не двигались и не разговаривали.

За нами никто не пришёл.

Мы ушли с работы ровно в пять, и на берегу реки пили всю ночь до полудня субботы.

Проснувшись поздно вечером, я обнаружила эсэмэс: «Привет! Мы встретимся в обед?».

Ранним утром по дороге на работу вижу одну и ту же картину: дворники убирают площадь у кинотеатра после ночных гуляний. Упаковки от чипсов, семечек, стаканчики и попкорновые картонки напоследок снова смешиваются в общий хоровод. Алюминиевые банки утаптываются тётками до компактных размеров. Хозяйками города вороны придирчиво разглядывают газоны.

На лавочке сидит помятая девка, встрёпанные волосы и северный ветер в глазах — всё, что осталось от вчерашнего праздника... Она просит у меня закурить, и от жалости высыпает ей полпачки и подношу зажигалку — может, в ней ещё живет способность отогреваться от таких пустяков?

Что ждёт меня на работе сегодня — наверное, уже неважно. Важно то, что случилось за эти дни: он принял решение уехать в Москву, куда его приглашают на повышение. И мне невыносимо будет переживать это первые несколько недель, вспоминая его слова, запах, тёплые руки. И, в полном околочении, я откажусь от нового места работы и останусь в своей прессинговой конторе только потому, что силы все истрачены на безуспешные попытки рассмотреть в окно, как у перекрёстка скапливаются и трогаются машины и сидящие в них люди смотрят равнодушно ушами друг на друга, и ни один не может понять, что его автомобиль давно проехал мимо.

Станислав Домбровский



Концерт для гравия и луж

Весна

не жалею новых струн на «мексе»,
рви всё к черту и go со мной.
это чувство покруче секса —
целоваться с самой весной.

в стёртых джинсах, всё так же курит
только старый и крепкий свинг.
ей не надо для счастья дури
у неё есть любовь в крови.

ей плевать на мои устои,
на привычки и тухлый быт.
с ней в гремящих машинных стойках
четко слышится letitBEAT.

и в каком-то припадке нежности
я ору на пустой проспект:
«у кого есть такая женщина?
у кого ещё?!!»
больше нет

нет в глазах моих вечной осени.
нет дурацких обид и лжи.
до свидания, одиночество.
я опять
выбираю
жизнь.

ДОМБРОВСКИЙ Станислав Вячеславович родился в Омске в 1987 году. В 2004 году окончил школу, поступил в Новосибирский государственный университет на факультет информационных технологий. В данный момент работает по профессии. В Омске участвовал в деятельности ЛИТО при Союзе писателей. В 2007 году выпустил стихотворный сборник «Запасный выход» и получил поощрительную премию им. Ф.М. Достоевского.

С большой буквы

ты — это ты. не татуировка.
не новый прокол. не дурацкая фенька.
не положительный резус крови,
и не поддельные документы.

ты — это ты. не психология.
не красный диплом и не сумма оценок.
не отключённая напрочь логика.
не размер груди или песни.

ты — это ты. не выбритый череп.
не хайр до плеч. не Сапон-EF-<номер>.
не объективность,
не край, не через.
не два шага от моего дома.

ты — это ты. я спать разучился,
ведь ты — это ты. ты — и не меньше.
не выношу крупных букв и чисел,
но — это ты. всего лишь — Женщина.

* * *

Не влюбляйся в меня, не надо,
просто так же в глаза смотри.
Ведь тебе всего 18
а мне — 23.

Я смотрю в тебя, как в отражение,
где весь я, но со знаком «плюс».
Знаешь, девочка Женя,
кажется, я люблю.

Не бывает таких случайностей,
чтобы вместе на два часа.

Обжигает ладони счастья
светлая полоса.

На дурацком судьбы штрихкоде —
чёрно-белых полосок шум.
Хочешь — какую угодно
из них перепису.

Свернуты к дьяволу горы и
все тормоза в мозгу.
Вызови мне скорую —
я без тебя не могу...

Разговор со знакомым дождём

— Привет.
— Привет. Залей глаза слезами мне.
Я разучился, высох изнутри.
Я сдал сегодня все свои экзамены.
— На пять?
— Да что ты... Нет, на 23.
Сдавал Любовь, да как-то не сложилось.
Пять пересдач — и все не про меня.
Не выучил, как там течёт по жилам
Конспектов двадцать вечно огня.

Я Одиночество учил запойно,
Когда Толпу писали дураки.
Никто из одноклассников не понял,
Как смог я сдать Теорию Тоски,

Они орали «Блин, приди Халява!»
И открывали окна в темноту.
И двойки им ставили по правилу
«Халява будет. Но в раю — не тут».

Спиши, попробуй — жизнь других до корки.
По трафарету стань собой — никем.

На умной рожке шпору счастья скорчив,
Иди до самой смерти налегке.

Жил, как дерьмо? Так умирай, как падаль.
Не академ, а вылет навсегда.
Ты завалил всю сессию по Правде
И человекоминимум не сдал.

— ?!!

Забей. Пошли, я не тебе, конечно.
Ты в памяти моей пока живёшь —
Шесть тысяч дней моей угрюмой нежности,
Знакомый мой, обычный летний дождь.

Ты сам-то как?

— Работаю, как дьявол.
Деревьям — рост, влюблённых — по домам.
Пишу концерт для луж, машин и гравия.
Учу таких, как ты, сходиться с ума
В хорошем смысле слова — в пару строчек
Куплетов, песен, знаешь — как попрёт.
Я стал, как ты — старее, злей и проще.
Не пробежишь — не переедешь вброд.

— Забыл спросить...
— Да, да, ты вечно паришься,
Не по... не знаешь, как меня зовут.
Ты знаешь.
— Саня?
— Саня.
— Ларичев...

Я обернулся в тишине на звук.
Нет голоса. И человека тоже.
И я один иду к себе домой.
И ни один из грёбаных прохожих
Не понимал, что этот дождь — живой.

Дарья Серенко



Тишина вымывает звуки...

Мы

Мы в ответе
за каждое слово,
Которое приручили,
Которое подковали —
Каждый во что горазд.
А нужны ли ему
подковы?
А нужны ли ему
причины,
Чтобы уйти однажды
От одного из нас?..

* * *

В твоих глазах идёт бесконечный снег.
Но этот снег давно разучился таять.
В ком сотни тысяч белых нескрытых рек,
В том очень быстро затвердевает память.
Я буду рядом много снегов спустя.
Пусты часы: их стрелки давно опали.
И боль пуста, и память уже пуста,
И мне тепло от карих твоих проталин...

СЕРЕНКО Дарья Андреевна родилась в 1993 году в Хабаровске, с 1998 года живёт в Омске. С этого года — студентка первого курса Литературного института им. Горького (поэзия). Публиковалась в журнале «День и ночь» (Красноярск, 2009 и 2010), «Омская муза» (2010), альманахе «Обнинский полис» (2009), «Сарафанное радио» (Оренбург, 2008), «Весна — это всех касается» (2007). Лауреат нескольких всероссийских и международных поэтических конкурсов.

Пенелопа

Горстка земли, лепесток цветка,
Камень, который вода точила...
На расстоянии счастье ткать
Время меня учило.
Не надоело к чужим кострам?
Я распускаю тугие косы.
Косы и нити... Из дальних стран
Ты привези мне просто
Горстку земли, лепесток цветка,
Камень, который вода точила...
Самому сложному — отпускать —
Время не научило.

Упрёк

Бог высекает звёзды.
Я собираю бусы.
Кто-то ещё не создан,
Кто-то ещё не признан.
Нить перетёрлась позже,
Чем ты ушёл отсюда...
Кто-то ещё не прожит,
Кто-то и жить не будет.
Бог!
Это слишком просто —
Всех забирать на память...
Я высекаю звёзды.
Бог
собирает
камни.

Колыбельная

Тишина вымывает звуки
Из пространственного песка.
Огрубелые руки
земля подставляет
Для лунного молока.

Циньк
Цанк
Цонк

Занесло же такого кроху...
Мир, потише: не видишь — принц!
Молоко не обсохло —
и длится эпоха
Закатов, планет и птиц...

Циньк
Цанк
Цонк

Тссс!

Яблоко

В надкусанном яблоке
коричневает время:
Кто-то ушёл.
В другую комнату или навсегда?
Я за яблоко не боюсь:
оно прорастёт в Эдеме
(Там некому рвать и незачем опадать).
Боюсь за ушедшего.
Перебираю бусы.
Господи, сколько же этих фамильных бус...
Дрогнули пальцы:
кто-то вернулся.
Я улыбаюсь
и предвкушаю
хруст.

Легко

В общем-то, всё легко. Цокают каблочки.
Кто-то по злой привычке на непогоду
сетует.

Выну из жёлтой сумки розовые очки...
(Странно,
а всё по-прежнему
фиолетово).
В общем-то, всё легко. Лёгкостью и живу.
Жаль, доходило долго, муторно,
по крупичам,

Что нечего переучивать в жаворонка сову
(И что хуже того —
журавля — в синицу).

* * *

Есть дерево, существующее только в одном
окне.

Больше нигде на свете этого дерева нет.
На нём не растёт ничего, кроме вязаной

ерунды:

Посеял носок — теперь пожинай плоды.

Есть вешалка, существующая только
в одном шкафу.

Если её швырнуть на стол или на софу,
Вешалка станет звуком рвущегося тряпья:
Так по одежке любили встречать тебя.

Есть комната, существующая только
в одном стихе, —

Место, отведённое всяческой чепухе.

В этой комнате я сдавала на водительские
права,

Пока ты

Не хотел

Отвечать

За свои

Слова!

Ковчег

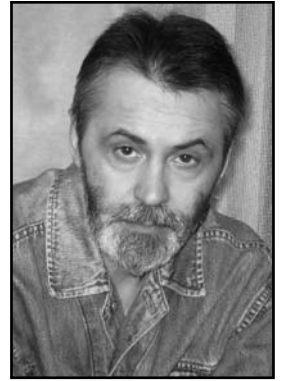
«После нас — хоть потоп», —
 Приговаривал Ной,
 И ковчег раздавался вширь...
 И плодилось зверьё, и прело зерно,
 У людей заводились вши.
 А никто не знал, ничего не знал,
 Были слухи про сорок дней.
 Простынёй сваявшаяся белизна
 Становилась грязней, темней...
 И подумал Ной, что пришла пора,
 И согнал со стола мышей.
 И затих ковчег — на плаву сарай,
 И задвигались сотни шей.
 И сказал им Ной, что святая кровь
 В жилах этого корабля,
 Что один язык и на общий зов
 Появиться должна земля.
 И взревел ковчег, и затих ковчег,
 И раздвинулась тишина,
 И молился истово человек,
 И не трогала мышь зерна,

И забился голубь о потолок
 Так, что выпустили его...
 Каждой твари — тварь,
 каждой твари — Бог,
 Выгружаемся, кто живой!

* * *

Навёрстывая дошедшее, наворачивая
 конфеты,
 Разглядываю коллекцию выуженных
 диковин:
 Фарфоровые жемчужины, пуговицы,
 монеты...
 А мечтается о другом, более редком улове.
 Всё-таки есть во мне коллекционерская
 жилка:
 Вот снилось вчера опять
 («Сон в руку!» — сказать бы впору),
 Как поэты пишут стихи, рассовывают
 по бутылкам
 И, на что-то надеясь, бросают в людское
 море.

Евгений Даниленко



Рассказы

Друзья

Николаев и Наумов, алкаши с сорокалетним стажем, сидели на лавочке у подъезда, повернувшись спиной ко двору, лицом к большому миру... В этом большом мире происходило много интересного. Проехала машина по дороге между бетонным забором и бывшей баней, украшенной загадочной вывеской «Инакоресурс». Пробежала, не глядя на алкашей, лохматая собака, являвшаяся когда-то, вероятно, белой, а нынче серая, с бурым брюхом и лапами.

С балкона позади Николаева и Наумова скинули деревянный ящик. Он упал на асфальтовые отмостки и раскололся. Но друзья даже не пошевелились.

Потом из-за угла дома вышел и пошёл прямо на них Кипятковский, тоже алкаш, но живущий где-то на другом конце города. Не доходя нескольких шагов до друзей, Кипятковский вдруг склонился, опёрся руками о металлическую оградку и изверг на ландыши бабы Зины то, что в ларьке у автобусной остановки продавалось как бургундское трехсотлетней выдержки.

— Наумов! — послышался крик женщины, вдруг проснувшейся и обнаружившей, что у неё выросли на ладонях копыта оленя. — Наумов!!!

Заскрипела металлическая дверь подъезда, из-за неё, подпираясь клюкой, выступила баба Зина. Увидев её, Кипятковский выпрямился и, вытирая рот рукавом белоснежной своей сорочки, начал пятиться... Однако скорость от-

ступления оказалась недостаточной. Баба Зина, хрипло выдыхая воздух и постанывая, настигла чужого алкаша возле угла дома.

Николаев вдруг качнулся вперёд и, склонив голову, остался в этом положении.

— Наумов! — вскричала, выползая из подъезда, женщина с зелёной кожей и, подковыляв к Наумову, начала бить его пластиковой бутылкой по голове, приговаривая: — Иди домой! Я тебе приказываю... Иначе ты у меня на улице будешь ночевать!!!

Но сохранял безмолвие и неподвижность Наумов, пристально глядя в большой мир.

Баба Зина, подмяв под себя Кипятковского, что есть силы волтузила его коленями и локтями.

— У меня душа, — извиваясь, ныл посторонний алкаш, — душа такая! Я не могу не пить!

— Я тебе покажу «душа», — хрипела старушка, запуская в редкую бородёнку Кипятковского свой маникюр. — Ты у меня узнаешь, как гадить на цветочки, пар-ршивец...

— Наумов! — неистовствовала зелёнокожая. — Нау-мо-о-ов!!!

Словно очнувшись от сна, Наумов вдруг перевёл вопросительный взгляд на соседа:

— Меня кто-то зовёт?

Николаев, вместо ответа, скептически усмехнулся.

Перед «Инакоресурсом» остановился грузовик. Проходивший мимо него юноша в джемпере на ходу ткнул в переднее колесо грузовика шилом. Из кабины тотчас вывалился толстый мужчина с крем-брюле, завопил:

— Посмотрите, посмотрите! Юноша в джемпере мне колесо проколол! Я даже глазом не успел моргнуть, не то что доест крем-брюле!

Юноша вернулся, замахнулся на толстяка шилом, но с размаху вонзил его, однако, в другое колесо. Потом забрал у толстяка крем-брюле, на ходу облизывая мороженое, скрылся в соседнем дворе.

ДАНИЛЕНКО Евгений Анатольевич родился в 1959 году. Учился во ВГИКе, сменил несколько профессий. Печатался в журналах Москвы и Омска. Автор пяти книг и сценариев нескольких художественных фильмов, в том числе — фильма режиссёра Ф. Янковского «Меченосец». Лауреат премий журнала «Знамя» и областной молодёжной им. Ф.М. Достоевского. Член Союза писателей России.

— Вот! — жалобно заныл толстяк. — И крембрюле! Туда же!

Наступила ночь. Прилетели комары и принялись немилосердно жалить Наумова с Николаевым. Из соседнего двора явились молодые люди с гитарами и девчонками, принялись смеяться над друзьями:

— Ха! Алкаши! Вонючки!

Наумов и Николаев сохраняли неподвижность и молчали. Потому что сорок лет назад сами были юношами с гитарами и кричали сидящим на бревне у сараев Фрибусу и Борейше:

— Эй, чмошники! Тунеядцы! Ал-ко-го-лики!..

Молоды и неопытны были друзья и, конечно, глупы.

Исчезновения в сентябре

Триконя Валерий Филиппович посреди ночи проснулся в цыганском поту. Ему приснились кухня и львы. Причём львы, заполонившие кухню однокомнатной триконевской квартиры, норовили выскользнуть оттуда, а он, Валерий Филиппович, изо всех сил сдерживал натиск зверей на дверь, стоя нагишом в коридоре...

Сон измотал Триконю. Он зажгёт в комнате свет и убедился в отсутствии львов в кухне, ванной, коридоре и туалете.

«Это всё оттого, — подумалось нашему герою, — что я провожу одинокие ночи».

Валерий Филиппович был вдов. Жена его, страстная собирательница грибов, два года назад, в августе, уехала к родственникам в таёжный район, и вскоре оттуда пришла телеграмма: «ВАЛЕРИЙ АНАСТАСИЯ ПРОПАЛА ТАЙГЕ ПРИЛЕТАЛ ВЕРТОЛЕТ ИСКАЛИ СОЛДАТЫ СОБАКИ ОХОТНИКИ ВСЁ НАПРАСНО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ НАШЛИ ТОЛЬКО КИРЗОВЫЕ САПОГИ ЦЕЛЮЮ СЕРАФИМА».

Старшая сестра жены Трикони, конечно, как всегда, всё перепутала.

Валерий Филиппович выезжал в село, из которого на сбор белых грибов отправилась в последний раз его Анастасия, и выяснил, что охотники, действительно, были, а солдаты и вертолёты — плод воображения Серафимы, заведующей сельским клубом, пишущей стихи.

Кирзовые же сапоги, о которых упоминалось в телеграмме, точно, имели место. Но тот, кому они принадлежали, оставил их на краю таёжного оврага не менее пятидесяти лет назад.

Когда Триконя добрался от автобусной остановки до дома, где жила Серафима, то обнаружил, что его встречают. В лиловом бархатном платье и красных туфлях на каблуках, прижав к груди томик Есенина, старшая сестра без вести пропавшей жены сидела на брёвках возле ворот.

Серафимин муж, Степан Яковлевич, человек нелюдимый, молча пожал гостю руку и в тот же вечер отбыл на рыбалку в Тюменскую область.

Сперва тревога за жену сдавливала Валерию Филипповичу сердце, особенно когда он представлял, как Анастасия, в то самое время как он слушает причитания Серафимы, мёрзнет где-нибудь среди болот. Потом Триконя стал испытывать досаду на жену. «Вот тебе и грибы, — угрюмо размышлял он, — сидела бы дома, и ничего б не случилось...»

Затем ему стало не хватать женина голоса, прикосновений, большой мягкой груди, борща и пельменей, в приготовлении которых этой сгнувшейся в дебрях сорокасемилетней крашенной хной брюнетке не было равных. «Золотые зубы недавно вставили ей», — вдруг подумалось Триконю, и он страдальчески поморщился.

Серафима, повествовавшая о том, как в том же самом урмане бесследно исчез старый опытный лесник (правда, случилось это ещё в царское время), сочувственно посмотрела на Валерию Филипповича.

— Ладно, — сказала она, — уже поздно. Давай спать.

...Примерно через год туристы, занимавшиеся сплавом по таёжным рекам, наткнулись на Анастасию. Она сидела, привалившись спиной к лиственнице. Мыши, птицы и муравьи успели основательно отделать охотницу за грибами, однако копна выкрашенных в огненный цвет волос и золотые зубы не пострадали. Судя по всему, женщина заблудилась и долго брела по роскошным августовским сограм, пока не обессилела и не успокоилась под сентябрьской засыпавшей её иглами лиственницей.

Похоронив останки жены, Валерий Филиппович так, как иные уходят в запой, отдался выпилыванию лобзиком по фанере. В короткое время фанерное изобильное кружево украсило дачный домик, сарай, нужник Трикони. А лобзик в руке вдовца продолжал неустанно работать.

Произведя нечто грандиозное — выпиленное из фанеры изображение Куликовской битвы, Валерий Филиппович, наконец, изнемог, и долго сдерживаемые слёзы хлынули на воеводу Боброка, князя Дмитрия, Засадный полк, ставку Мамая...

После этого и приснился сон со львами.

Стоял сентябрь, Триконя брёл по городскому парку, смахивая прилипающие к лицу паутинки. Золотые листья на ветках блестели, как улыбка жены...

Дома Валерия Филипповича ждала телеграмма. Почтальонша оставила её соседке, и та передала телеграмму Триконе. «СТЕПАН ПРОПАЛ РЫБАЛКЕ ДАНИЛОВОМ ОЗЕРЕ ИСКАЛИ ВОДОЛАЗЫ ВСЁ НАПРАСНО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ОБНИМАЮ СЕРАФИМА».

В том же самом бархатном платье и красных туфлях она прогуливалась по изъезженной и унавоженной дороге перед домом. Томик Есенина, однако, отсутствовал. Вместо него Серафима обеими руками прижимала к груди старую ондатровую шапку мужа.

— Вот дурень-то, — увидев Триконю, крикнула женщина. — Говорила: сиди дома! Не послушал, и вот...

Слёзы полились из её глаз.

Потом ездили в соседний район, в морг, на опознание трупа, прибитого к глинистому берегу волной Данилова озера.

Рыбы и раки на славу поработали над утопленником, однако по большому охотничьему ножу, который висел у него на поясе, Серафима узнала мужа.

Вышли из автобуса у околицы.

— Как теперь быть, — вздохнула Серафима.

Триконя вдруг порывисто прижал её к себе. Свежеиспечённая вдовица не удивилась.

— Мне страшно, — прошептал Валерий Филиппович. — Как беспощадна жизнь...

Обняв его, Серафима закрыла глаза. Небо было безоблачным. Солнце светило ласково, но уже не грело. Берёзовый лес, окружавший дорогу, на которой стояли мужчина и женщина, едва слышно шелестел.

Жена

— У тебя, — талдычила мне жена, — умелые руки! Хватит тебе дома сидеть! Поезжай куда-нибудь, заработай семье хотя бы на золотые серёжки...

«Семьёй» жена считает себя. У неё лыжная палка, хроническая депрессия и такое выражение лица, точно ей налили в карман кирпичок. За что я люблю свою жену — не знаю. Готовить она не умеет. Стирает отвратительно. Так что готовлю, стираю, убираю квартиру я сам. А также хожу по магазинам, на рынок и т. д.

Лыжная палка жене вот на что: когда сынок нижних соседей, шестнадцатилетний Вовка, включает на всю громкость магнитофон, жена, не вставая с дивана, хватается палку и что есть мочи лупит его по трубе центрального отопления.

— Всю краску с трубы оббила, — говорю я ей. — Перестань! Это бесполезно.

— Поговори с его родителями!

— Уже говорил! Мать сделать с ним ничего не может, потому что она худенькая, а Вовка весит девяносто семь кило.

— Поговори с папашей! — не переставая молотить по трубе, кричит жена.

— С ним разговаривать невозможно...

— Почему?! Почему?!!

— Сидит в тюрьме.

— Это он нарочно сидит! Специально!

И вот дались ей эти серёжки...

Оставив спокойную и необременительную работу дворника, я прибился к бригаде, отправляющейся строить кошару в южных районах области. Бригада состояла в основном из татар. Русских — я и Кузьмич-плотник.

Прибыли на место. Приступили к работе. День работаем, второй. Чтoб веселей кошару было строить, пьём, конечно. На строительстве без этого нельзя.

На третий день, поужинав после работы, выпив, я лёг спать. А Кузьмич и татары продолжали пить.

Ночью я проснулся от толчка. Открываю глаза — передо мной дрожащий татарин.

— Там с Кузьмичом худо...

Вскочил я с топчана (мы в вагончике-бытовке жили), свет включил, а Кузьмич — вот он, на соседнем топчане. Глаза закатил, а руками по груди водит и сипит:

— Горит... Горит всё...

— Давайте, — команду, — его на улицу!

— Не, не, не, — загалдели татары, — мы боимся!..

Делать нечего, пришлось мне вытаскивать плотника на улицу в одиночку. Посадил я его на землю, прислонил спиной к вагончику, начал мужику уши тереть, по щекам его бить — несильно, чтоб он в себя пришёл... Действую, значит, таким манером, только смотрю: не становится Кузьмичу лучше. «Дело скверное», — думаю. А от татар никакого проку! Столпились вокруг, пьяные, бледные, испуганные.

Побежал я к завгару.

— Так и так, — кричу, — кончается человек! Необходимо его в больницу везти!

Завгар кряхтит:

— Вишь вы, черти какие... Говорил же вам, не пейте вы столько! Не послушали...

Сам, однако, идёт в гараж, выгоняет машину.

Ну, подъезжаем мы в «бобике» директорском к вагончику. А навстречу нам татары — скачут, как черти, в лучах фар, руками машут и галдят:

— Помер! Крякнул Кузьмич! Только что бросил кони!..

Вечером зашёл к нам директор.

— Из района звонили, вскрытие показало: загнулся Кузьмич ваш от сердечной недостаточности. Да, и ещё. Связались с его женой в Омске... Дело такое: отказывается жена от покойника!

— Как отказывается?! — ахнули мы. — От родного покойника?..

Ну, посоветовавшись, решили мы скинуться Кузьмичу на рубашку, туфли и костюм. Гроб я сам сделал. Могилку выкопали сообща.

На поминках в квартире у жены Кузьмича собралось немало народа. Все пили и ели за наш счёт. А больше всех пила жена Кузьмича и рыдала:

— Ты всю жизнь только пьянствовал, ни копейки я от тебя не видала! На кого ты меня, соколик ясный, оставил?! Покинул, ушёл от меня навек!..

После поминок татары (очень эта нация уважает родственные связи) захотели проведать своих городских родичей. Ну, и меня с собой прихватили. Наконец, дней через пять, в полном составе возвратились мы в сельскую местность.

Директор пошумел сперва, потом успокоился. Дал мне денег, шофёра, машину, отправил в город за стройматериалами.

Вернулся я поздно вечером. Смотрю, а в бытовочке нашей — ни огонька.

Я к директору:

— Где мои татары?

— Такое дело, — отвечает он, а сам хмурится. — Позвонили они из гаража в соседнюю деревню родственникам. «Приезжайте, — говорят этим родственникам, — на сабантуй! Тут бараны, сделаем и шашлык, и бешбармак, и всё остальное!» Ну, а того не учли, что на проводе наша телеграфистка сидела, а муж у неё участковый! Короче, взяли голубчиков, когда они собрались частному фермерскому барашку сделать секир-башка... Разбираются сейчас с твоими татарами. Посадить могут.

— А что же мне делать?

— Ступай, откуда пришёл...

Жена встретила меня неласково.

— Вечно у тебя всё не слава богу! Вместо того чтоб денег для семьи заработать, ты их на такого же, как сам, охламона истратил! Без тебя, видите ли, его некому было похоронить!

Жена ещё хотела что-то добавить, но в этот момент под полом бухнул барабан, зазвенели электрогитары, и не то мужской, не то женский голос запел:

Что ты делал вчера!

Помнишь ли?

Ох! Вставал предо мной на колени!

И жестом широким бросил на стол

Принесённые в газете пельмени!

Отвлекшись от меня, жена схватила лыжную палку и что есть мочи заколотила ею по батарее...

Гулять мы с тобой за деревню пошли, — надрывался пуце прежнего голос, —

И там, при большой дороге,

Ты читал мне стихи о любви,

Сплёвывая красиво под ноги-и-и!..

Молния

Тарышкину было шесть лет, когда в дерево, под которым он с матерью прятался от майской грозы, ударила молния. От матери остались только резиновые галоши, а у Тарышкина сгорели волосы, ресницы и брови.

Вскоре после этого тарышкинская бабка Алёна занемогла. Жаловалась на колющую в боку, сухость во рту, слабость, и приставала к зятю с просьбами отвезти её в район, в больницу.

— Помирать тебе, красавица, пора, — в сердцах отвечивал отец Тарышкина, горький пьяница, и отправился ловить налимов.

Охая, бабка Алёна лежала на кровати. Громко тикали ходики. Летние вечерние сумерки вползли через окна в тарышкинскую избу. Вдруг скрипнула дверь.

— Игорёк, ты, что ли? — приподняв голову с подушки, слабым голосом спросила старуха.

— Я...

— Наигрался?

— Угу. А ты как?

— Вот, внучек, помираю...

— Щас...

Мальчик погромел чем-то в сенях и вернулся в комнату с отцовским молотком в руках.

— Ты чего, Игорёк?

Не отвечая, малыш снял с гвоздя над рукомоёмником грязное вафельное полотенце и принялся обматывать им молоток.

— Ты что хочешь делать?..

Искося взглянув на бабку, мальчик продолжал своё дело.

— Ты слышишь меня ай нет? Щас же положи молоток на мес...

Подскочив к старухе, Тарышкин с размаху огрел её молотком по голове.

От первого удара баба Алёна вскрикнула, от второго охнула, на третий не среагировала никак.

На всякий случай мальчик потыкал рукояткой молотка больную в щёку. Баба Алёна сохранила неподвижность.

Бросив молоток на пол, Тарышкин вооружился лежавшими на подоконнике портновскими ножницами...

Тикали ходики, в комнате сгушался мрак. Вдруг на улице залаяла собака.

— Цыц, Бобик, — слышался хриплый окрик.

Хлопнула дверь, заскрипели половицы. В избу вошёл тарышкинский отец, возвратившийся с промысла. Щёлкнул выключатель. Под потолком загорелась лампочка, осветив лежавшую на кровати старуху с распоротым животом...

Тарышкин-старший открыл рот и перевёл потрясённый взгляд на сидящего на полу сына, который полоскал в жестяном ведре какую-то, как показалось пьянице, тряпку.

— Выключи свет, дурак, — спокойно сказал мальчик.

Тарышкин-старший повиновался.

В темноте хлопала вода. Позванивала ведёрная дужка. Потом слышались какие-то шлепки, словно кто-то бегал босыми ногами по мокрому полу...

— Зажигай свет, — скомандовал тонкий детский голос.

Лампочка вновь загорелась. Перед Тарышкиным-старшим предстал сын с зеленоватыми камешками, которые он, словно играя, пересыпал из горсти в горсть.

— Что... это... у тебя?..

— Не видишь? Из бабы Алёны вытащил... Поискал в ней хорошенько и нашёл!

Утром баба Алёна уже хлопотала по хозяйству.

А Игорь на следующий год пошёл в первый класс. Учился младший Тарышкин плохо. Едва умел читать и писать. Учителям грубил и часто пропускал уроки.

Когда однажды сфотографировались всем классом в школьном майском саду, то Игоря, который стоял под цветущей яблоней справа от классной руководительницы Екатерины Ивановны, на фотографии — не оказалось!

Затем он как-то раз посмотрел на проезжавшего по деревне в «тойоте» речника Болонкина, прибывшего из Омска проведать своих родителей, и процедил сквозь зубы:

— Щас ка-ак врежется в столб...

И точно, болонкинская «тойота» на абсолютно пустой улице вдруг вильнула вправо и на всём ходу врезалась, но не в столб, а в стоявшую при дороге бог знает с каких времён тюркскую бабу.

Когда мужики вытащили речника из искорёженного автомобиля, Тарышкин вновь удивил всех. Протолкавшись сквозь толпу, этот низкорослый, с оранжевыми волосами и чёрными губами пацан, который читал по слогам и путал таблицу умножения, хмыкнул, взглянув на окровавленного капитана нефтеналивной баржи, и произнёс в мгновенно установившейся тишине:

— Инсульт! Лопнул сосуд в левом мозговом полушарии. Жить будет, — Тарышкин зачем-то посмотрел на небо, — до сентября две тыщици второго года! А говорить и ходить — никогда...

Так оно и случилось! Болонкин прожил после аварии (передвигаясь в инвалидной коляске) ещё больше четырёх лет и умер в две тысячи втором году, аккуратно восьмого сентября перед рассветом.

Баба Алёна чувствует себя хорошо. Но замечены странности в её поведении — купается нагишом в Иртыше. Мальчишки, прячась в кустах, не раз подсматривали, как выходит из воды на берег эта большая костистая старуха с извилистым коричневым иероглифом на брюхе.

Школу Игорь так и не окончил. В армию его не взяли. Вместе с отцом пацан днюет и ночует на Иртыше. Ловит налимов. Голос у него сделался грубым. Да и то — младший Тарышкин с первого класса курит и пьёт. Отец, судя по всему, находится у него в подчинении и обращается к сыну: «Игорь Гаврилыч».

Крышу на избе своей Тарышкины разобрали и живут так, просто, под открытым небом. Летом на полу в их избе лужи. А зимой кровать, стол и стулья тонут в сугробах...

Пётр и милиционеры

Пётр Шлипанов в конце семидесятых, будучи семнадцати лет, получил по морде от обитавших на соседней улице трёх своих сверстников. Обращает на себя внимание такой нетипичный для того времени факт, как нападение троих на одного. Обыкновенно в описываемый период было принято драться по формуле либо «толпа на толпу», либо «один на один». И вот лицо Петра так подло оказалось разбито...

Прибежав домой, Шлипанов смыл под умывальником с лица злые, жгущие кожу слёзы, кровь и, переодевшись в чистую рубаху, отправился в кинотеатр «Луч» на «Фантомаса». Посмотрев

два или три раза подряд этот популярнейший в то время фильм, Пётр замечательно скоротал время. Так что, когда он вышел из кинотеатра на улицу, был уже летний вечер. Облизав разбитые губы, Пётр направился — тут, недалеко, к обшитой толлем хибаре, стоявшей на берегу Оми. На стук вышла мать Сафронова.

— Петька? Чего тебе?

— Васька дома?

— Эй, Васька!..

— Кто там, ма?

— Скажите, Клеопатра Рудольфовна, — подмигнув женщине, шёпотом попросил Петр, — что Валерка пришёл..

— Э-э... Валерка к тебе, — покладисто повторила сафроновская мать и, махнув рукой, скрылась.

И вот на пороге хибары, шурясь от света уличного фонаря, показался тот, кто из всей троицы вёл себя наиболее гнусно: плевал в лицо Петру, пинал его, лежащего, в живот, называя при этом «глупую обезьяной».

Схватив своего врага за грудки, Пётр затащил его за хибару, поверг наземь и кулаком несколько раз звезданул по морде...

Поднявшись на третий этаж новенькой «хрущёвки», Пётр пригладил ладонями свои непослушно торчащие в стороны волосы, заправил в брюки рубашку и, изобразив на лице добродушие, позвонил в дверь под номером тридцать.

Громкий басовитый лай, тотчас раздавшийся из-за двери, явился для Петра полной неожиданностью. Он не знал, что у Валерки, который, собственно, и заманил его за гаражи, есть собака.

Взлетев по лестнице на верхний этаж, Шлипанов услышал, как, клацнув замком, отворилась дверь, как голос отца Валерки спросил из глубины квартиры:

— Кто там?..

И как голос Валерки ответил:

— Да нет никого! Наверное, пацаны балуются...

Затем замок клацнул вторично.

«Как же, пацаны», — злобно подумал Пётр.

Он тщательно описал дверь под номером тридцать, постарался попасть струёй даже в замочную скважину, а в заключение сделал крайне мокрым и коврик, лежавший перед порогом.

Остановившись в тени парковых кустов сирени, Пётр тихо позвал:

— Мить! Митя-а...

Светившийся в темноте за кустами рубиновый огонёк, мигнув, поднялся в воздухе на уровень глаз человека высокого роста. Послышались шаги,

и из-за кустов показался Димка Псарёв. В зубах его дымилась сигарета. Левая рука обнимала за плечи ту, из-за которой, собственно, и разгорелся весь сыр-бор.

Увидав Петра, Псарёв молча повернулся и бросился наутёк...

— Шлипанов, — изо всех сил крикнула та, из-за которой развязалось междоусобье, — я тебя больше не люблю! Вас в семье у матери три обормота: ты, старшая сестра и младший брат! Вы бедные, у вас дом деревянный и едите вы одну жареную картошку с мясом! Я предпочла тебе Псарёва, и хотя ты по натуре своей благороден, а он подл, однако обещает на мне жениться! Я стану жить с ним в отдельной двухкомнатной кооперативной квартире, которую нам после свадьбы купит его отец, богач, заведующий Первомайским райпродторгом! Откажись от меня, Шлипанов!

— Да нужна ты мне, — пробормотал Пётр и, ничего не видя из-за наворачившихся на глаза слёз, побежал туда, куда подсказывали ему бежать горечь, поруганная любовь и жажда мщения...

Менее чем через десять минут кросса по освещённому луной парку некурящий Пётр услышал впереди топ и запалённое дыханье своего недруга. Возле аттракциона «Чёртово колесо» настигнув счастливого соперника, Пётр отвесил ему оплеуху и несколько пинков под зад.

Стеная и посылая проклятия на голову нашего героя, сынок известного городского богатея убрался восвояси...

Чувствуя себя учеником чародея, которому удалось превратить зубную боль в мотороллер, Шлипанов пошагал домой.

Среди ночи его разбудил громкий стук в дверь... Простоволосая мать прошлёпала мимо Петра босыми ногами. В сених звякнул крючок. Послышался грохот вечного опрокинутого пустого ведра. В комнату, где Пётр спал, вошли, освещая себе дорогу фонариком, два милиционера.

— Где тут у вас включить электричество? — спросил один.

Щёлкнул выключатель. Все тотчас зажмурились от яркого света.

— Где тут у вас Пётр Шлипанов? — спросил другой милиционер и, испуганно обернувшись на шорох за спиной, резко спросил простоволосую мать: — Ты?!

— Нет, — покачала головой та и перевела растерянный взгляд на сына.

Старшая сестра Шлипанова, придерживая рукой вырез на груди тонкой ночной сорочки, показала на пороге соседней комнаты, приковав к себе внимание гостей.

— Петька, — спросила она своим извечно спокойным голосом, — что ты натворил?

— Само... — не отводя глаз от старшей сестры, сипло пояснил второй милиционер, видно, старший по должности, — самосуд, понимаешь, устроил! Поехали, брат, в отделение, там разберутся.

— Господи! — придушенным голосом вскрикнула мать. — Куда на ночь глядя забираете ребёнка?! Подождите хоть до утра!

— У нас приказ, мамаша, — насупившись, буркнул второй милиционер и обернулся к Петру. — Ну, ты, давай собирайся...

Посадив в милицейский «бобик», Петра привезли в отделение, располагавшееся на задворках колхозного рынка. Ввели внутрь, представили дежурному. Тот, с тёмным от пота воротником форменной рубашки, взглянул на доставленного, как беременная на солёный топор. Затем принялся так накручивать телефонный диск, будто хотел доставить диску физическое страдание.

— Шлипанова привезли! — крикнул он в трубку, выслушал, что ответили, и, выразив на лице совершенное разочарование, мотнул головой вправо.

Старший по должности милиционер молча покосился на своего напарника, тот спохватился и, для чего-то крепко схватив Петра за локоть, повлёк его вглубь длинного тихого слабо освещённого коридора.

В конце коридора находилась дверь, украшенная красной табличкой, на которой ничего не было написано. Милиционер постучал в эту дверь. Ни звука в ответ. Милиционер прислушался и стукнул согнутым пальцем ещё пару раз. Тишина. Милиционер приоткрыл дверь и просунул голову в образовавшуюся щель...

— Ну, что ты, Горохов, всё стучишь, — слышался из-за двери такой мелодичный голос, которым можно было бы вскрывать консервные банки с повидлом. — Тоже мне интеллигент выискался!

— Доставил, товарищ старший лейтенант, задержанного, — пропищал Горохов.

— Давай его сюда!!!

И вот Горохов уже испарился, а Пётр стоит в большой, выбеленной известью комнате, пахнущей, как заброшенная скотобойня.

— Садись, — приглашает его человек, развалившийся за светлой полировки письменным столом, изъезженным вдоль и поперёк на коньках.

Пётр, вполоборота к человеку, присаживается на приставленный к столу табурет, потерявший всякую форму, благодаря миллионам слоёв казенной краски, нанесённых на него.

— Ну, что натворил? — приветливо спрашивается у Шлипанова хозяин кабинета.

— Ничего, — пожимает плечами Пётр.

И тут же получает такой удар в скулу, от которого раз навсегда выскочили из головы Петра все сказки о дяде Стёпе-милиционере...

— Побил, — начиная хлюпать носом, выдавливает он из себя. — Побил...

— Побил-ил?! Кого же?

— Митьку...

— И всё?

— И... и Ваську ещё...

— Что же ты путаешь, — добродушно глядя на Петра, поинтересовался следователь. — Что ты меня всё за нос водишь... — и, вдруг дико перекосившись лицом, закричал, царапая столешницу ногтями: — Ты думаешь, что сможешь водить за нос меня, следователя Ягодку?! А ну, выкладывай, мразь, ГДЕ ПАТРОНЫ?!!

Пётр, заикаясь, начал было выкладывать про патроны, вернее, про десяток чёрных стреляных гильз от патронов малокалиберной винтовки, которыми Шлипанов, впрочем, как и многие другие пацаны, имел дурость набить карманы после стрельбы по мишеням в школьном тире года четыре назад...

Но тут откинулся боковой занавес, и на сцену самодеятельного театра, которым являлось милицейское отделение, шагнул стройный, с приятным лицом, мужчина.

— Отставить, Ягодка, — усталым голосом произнёс он свою реплику. — Патроны нашлись! Там, — показал он себе за спину оттопыренным большим пальцем, — Малокишер с Коробутовым добились чистосердечных признаний от этого негодяя Салазкина...

— Вот оно что, — вскочив со стула и вытянувшись, воскликнул Ягодка. — Значит, Малокишер с Коробутовым... это самое... убедили Салазкина чистосердечно признаться?

— Чистосердечное признание облегчает ви-ну, — глуповато ухмыльнувшись, брякнул приятный и, с небольшим полупоклоном в сторону зрительного зала, ретировался.

— Ну, делать нечего, — вздохнул следователь.

Он подвинул к Петру несколько чистых листов бумаги, допотопную ручку с чернильницей. — Давай, пиши...

— Что писать-то? — поёрзав на кочковатом табурете, робко поинтересовался Пётр.

— ВСЮ ПОДНОГОТНЮЮ, — таким голосом произнёс следователь, что с заиндевших берёз в саду души Петра градом посыпались вниз обледенелые снегири.

Шлипанов написал и про Ваську, и про Митьку, и про дверь Валеркиной квартиры.

— Подпишись, — ознакомившись с данным сочинением, потребовал следователь тоном учителя литературы.

Пётр подписался.

— Ну, чего расселся? — пряча бумаги в стол, буркнул Ягодка. — Линия отсюда...

— Как?! Да ночью меня здесь подрежут! Небось сами знаете, какой у вас район...

— Да знаю, знаю... Что же прикажешь с тобой делать?

— Отправьте меня домой на машине.

— Еще чего! Ваську с Митькой измордовал плюс Валеркина дверь... Сейчас! Будем мы развозить на машинах... Ногами дойдёшь, авось ничего не случится! И имей в виду, ты у нас теперь на учёте! Шаг в сторону — и будем привлекать на всю катушку...

Через два года, когда Шлипанов учился уже на третьем курсе военного училища, в дверь дома Петра вновь раздался стук среди ночи. Прощёпав босыми ногами и звякнув крючком, простоволосая мать открыла дверь. Перед нею во дворе у крыльца стояли два милиционера, но не те, что приезжали в первый раз, а другие.

— Здравствуйте, — голосом бессонным и тихим заговорил тот милиционер, что, видимо, был старше по должности. — Мы явились с проверкой, чтобы узнать, дома ли в этот поздний час Пётр Петрович Шлипанов и чем он занят! Почивает ли сном невинности, либо с такими же, как сам, склонными к криминалу молодыми людьми, пьёт за столом в кухне дешёвый портвейн, курит папиросы и предаётся карточной игре... Надеюсь, мамаша, вы не возражаете, если мы на цыпочках проникнем в дом и застукаем вашего сынка в разгар разгула?

Из-за матери, не знавшей что отвечать на подобную речь, выступила старшая сестра Шлипанова. Ночных гостей поразила тонкость черт её лица, золото свисающих до колен распущенных волос и мощь форм, обрисованных теснотой почти прозрачной от ветхости сорочки.

— Да вы что! — воскликнула сестра возмущённо. — Петька уже третий год пыхтит в Тюменском сапёрно-строительном!

— Вот как? — изумился старший милиционер и оглянулся на своего младшего коллегу. — Ты слышал, Шершавый?..

— Угу, — отвечал тот и, сделав шаг вперёд, заговорил, обращаясь к одной толькошлипановской сестре. — Мы этого не знали. Вы, ради бога, извините нас за то, что нагрянули к вам в столь позднюю пору! Видите ли, начальство направило

нас... «А ну-ка, проверьте, — приказало оно, — как там ведёт себя Пётр Петрович Шлипанов! А то находится, понимаешь, человек у нас на учёте два года, и ни слуху о нём, ни духу! Может, он уже чёрт знает что натворил... Может, его уже судить пора, и Пётр Петрович ночи не спит, ожидая своего ареста, а мы бездействуем, томим, понимаешь, человека!» И вот мы здесь.

— Нету... Нету Петьки, — выдавила из себя мать и вдруг всхлипнула. — Таскает вас нелёгкая по ночам... Ироды! Перепугали...

— Ну, что ж поделаешь, — вздохнул старший милиционер и положил ладони на талию своему коллеге, — такая у нас служба.

Шершавый, обхватив коллегу руками за шею, томно откинулся всем корпусом назад. И, сорвавшись с места, оба милиционера, вальсируя, понесли со двора прочь, к своей машине, ждущей их на улице под горящим уличным фонарем.

«Приезжали мильтоны, — написала мать в письме сыну. — Спрашивали тебя. Мы сказали ты в училище. Они уехали. Больше пока не приезжали».

Прочитав это послание, Шлипанов потёр лоб, сдвинул свои густые пшеничные брови. Живо припомнились Петру дверь с красной табличкой, исцарапанный стол, следователь, удар в скулу, писание объяснительной, ночной «Копай-город», по которому Шлипанов тащился домой, каждую минуту ожидая нападения местной шпаны...

И сердце курсанта сжалось от нежности.

Лыжня

Замполит Фёдоров, старый капитан, исполняющий обязанности начкара, развернул записку и прочёл: «С 7 на 8. Нужны малок. п.» Подпись, конечно, отсутствовала.

Записку, привязанную к стреле, капитану принёс делавший обход вокруг зоны сержант. Подобных записок Фёдоров перевидал на своём веку множество. Зеки делали рогатки, луки и, прикрепляя записки к камешкам, гайкам, прутьям от мётел, рассылали во все стороны света свои послания... В них они просили денег, свиданий, объяснялись в любви, слали проклятия недругам и требовали немедленного освобождения: а) при помощи земляного подкопа, б) нападения на охрану, в) вертолёта, посаженного на футбольную площадку.

Стрела в утренних сумерках пятого января взвилась над жилой зоной и, пролетев над пятью

рядами колючки, вдруг обессилев, кувыркнулась вниз, воткнувшись в длинный сугроб возле тропы, по которой совершались обходы. Здесь её и увидел сержант Долбаев.

Сдавая дежурство, капитан предупредил сменщика:

— Готовится побег.

Затем надел шинель, шапку и отправился с докладом к начальнику колонии.

— А ты не преувеличиваешь? — спросил начальник и отчего-то вздохнул. — Может, зря поднимаешь шум, замполит...

— Лучше перестраховаться, товарищ полковник, чем потом локти кусать.

— Ну, ладно, отнеси это, — отодвинул от себя записку начальник, — в оперчасть. Пусть там решат, как и что...

— Разрешите идти?

На столе полковника зазвонил телефон и, сняв трубку, он махнул капитану рукой.

Фёдоров вышел. Ему было известно, что начальник, как, впрочем, многие командиры, недолюбливал офицеров, окончивших не командные училища.

После бессонной ночи, двух кругов, нарезанных по пятикилометровому периметру охраняемого объекта, замполиту хотелось одного — спать. Он представил, как придёт домой, поест борща, выпьет сто грамм...

Фёдоров, хрустя яловыми сапогами по снегу, шёл к операм.

Старший лейтенант Кузьмин и майор Иванов были уже у себя в кабинете. Показав Фёдорову глазами на стул, Иванов погрузился в чтение записки.

Замполит смотрел в покрытое снизу шубой инея окно. За ним на колючей проволоке сидела ворона. Капитан на миг прикрыл глаза.

— Всё ясно! — крикнула ворона, широко разинув клюв. — Малокалиберные патроны им требуются...

Фёдоров, слегка вздрогнув, открыл глаза и увидел Иванова. У майора был такой вид, точно у него всё под контролем. Но замполит знал, что это далеко не так.

— Что думаешь предпринять? — спросил он.

Майор поскуцнел. Кинул искоса взгляд на Кузьмина, стоявшего загоразживая спиной шахматную доску с расставленными на ней фигурами.

— А ты что предлагаешь?

У капитана слипались веки. Уже третья неделя пошла, как он заступал на дежурство через каждые сутки. Это было, конечно, нарушением всех правил и норм караульно-постовой службы.

Но офицеров, в связи с переменами в стране, не хватало.

— Вызовем Резаного?

— Давай!

Явился пожилой старшина с ножевым шрамом на шее — отсюда и кличка.

Изучив записку, он заявил:

— Я найду того, кто писал.

— Давай, давай, — обрадовался Иванов. — Найди поскорей!

Фёдоров и Резаный шли по широкой расчищенной зеками тропке. «Нет, — думал замполит, — пожалуй, есть не буду. Выпью и...»

— Это Витька Завьялов из шестого отряда писал, — неожиданно сказал старшина. — Его черк.

— Почему Иванову не сообщил?

— Так, — уклончиво ответил Резаный. — Погодить надо. Справки кое-какие навести...

Сдерживая судорожную зевоту, замполит пожал контролёру руку, и они разошлись. Один направился в зону. Другой пошагал к чернеющим на противоположной стороне снежного поля двухэтажным баракам.

В пять часов, когда Фёдоров, пробудившись от тяжёлого, мучительного, как бред, сна, сидел за столом, вяло хлебая дымящийся борщ, в окно постучали.

— Господи, уже поесть не дают, — покачала головой жена замполита и пошла открывать.

В комнату, стуча обледенелыми валенками, влетел вестовой.

— Тарищкаптан, вас к куму вызывают!

— Слушай, Бейсеналиев, сколько раз тебе говорить: не повторяй блатного жаргона...

— Виноват, тарищкаптан! В оперативную часть!

— Садись, чаю попей.

Через десять минут Бейсеналиев и Фёдоров шагали по темноте к переливающейся огнями зоне.

— Весной уходишь?

— Весной...

— Остаться на сверхсрочную предлагали?

— Как же...

— Ну, и что решил?

— Не-е... Я лучше домой! Соскучился по лошадям, по вольному балабасу...

— Бейсеналиев, Бейсеналиев... «Вольный балабас»! А сказать: «по домашней пище» — не можешь?

— Есть, тарищкаптан!

— Ну, ладно, иди в казарму. Завтра со мной заступаешь?

— Так точно!

В кабинете оперов было накурено. Полковник, в шинели и папахе, сидел на стуле спиной к окну. Едва кивнув Фёдорову, он, обращаясь к Иванову, сказал:

— Давайте, советуйтесь... Расхлёбывайте... А я... — начальник взглянул на часы, — ...так думаю, что фуфло всё это.

— Да мы, Владимир Алексеич, — поддакнул Иванов, — пачками такие записки получаем!

— Чёрт, — пожаловался полковник. — Дочь обещал сегодня пораньше забрать! Опаздываю...

Всем известно было, что дочь начальника недавно переболела гепатитом, и вот отец торопился в городскую больницу, до которой нужно было ещё пятьдесят километров по зимней трассе пройти.

Проводив полковника, Иванов вернулся в кабинет.

Почти тотчас следом за ним вошёл запыхавшийся Резаный.

— Выяснил! — выдохнул он.

— Ну, докладывай, — разрешил Иванов.

— Витька Завьялов с корефаном решились...

— Причина?

— Из Питера, где судили их, малява пришла: «Так, мол, и так. Накопытили менты труп — ваших рук дело. С чем поздравляем — новый срок будет в три раза длинней прежнего...» Вот они и собрались в побег! Пока их с нашего «общака» не перевели...

— Куда?

— Туда, откуда не бегают.

— Твои предложения, старшина?

— Да тут и думать нечего! Посадить обоих в ШИЗО и дело с концом.

— Гм. А за что?

— Да чтоб я не нашёл, за что зека в ШИЗО посадить! Найдётся причина...

Иванов с Кузьминым переглянулись.

— Ну, ты, Резаный, совсем оборзел, — хмыкнул старший лейтенант. — «Чтоб я не нашёл, за что зека в ШИЗО посадить!»! А закон?

— Ему плевать на закон! — поддакнул майор. — Так, нет, старшина?

Сбитый с толку Резаный перевёл взгляд на Фёдорова.

— Чего они, тарищкаптан...

Замполит и старшина были новичками в данной ИТК. Прежде, лет двадцать назад, их дороги пересекались в одной глухой уральской долине, связанной с Большой землёй узкоколейкой, по которой курсировал паровозик-«кукушка»...

У замполита шумело в ушах. Толчёное стекло в глазах, казалось, до крови раздирало веки. С силой растерев ладонью лицо, Фёдоров поднялся.

— Пошли, Петрович. Им охота ваньку валять.

— Погодите, — с металлом в голосе, окликнул замполита майор, — я не закончил.

— А я — закончил! — отрезал Фёдоров.

— Ты как разговариваешь со старшим по званию?! — взвился опер. — Да я на тебя — рапорт...

— Иванов, — таким голосом окликнул его замполит, что майор осёкся.

— Что?..

— Ты раздолбай и дурагон! — отчеканил старый капитан, лет двадцать назад, лейтенантом, прибежавший на лыжах в долину, по которой, окружённые проволокой, гуляли люди в полосатых бушлатах.

— Не, — подвёл итог «Резаный», шагая рядом с Фёдоровым по расчищенной зеками тропке, — майором тебе не стать...

Капитану хотелось одного — сделаться неподвижным. Он и контролёр, дойдя до развилки, разошлись. Один направился к офицерским баракам, а другой взял курс на спрятавшуюся в овраге деревню, где жила боевая подруга.

...В ночь с седьмого на восьмое января, производя обход охраняемого объекта, начкар обнаружил солдата, стоявшего перед четырёхметровым деревянным забором с автоматом наперевес.

— Бейсеналиев, — окликнул его капитан, — ты чего такой взъерошенный?!

— Из зоны кричали: «Часовой, берегись!».

Той ночью происходило следующее. Осуждённые Завьялов и Веригин попытались влезть на забор, ограждающий жилую зону. Но на их пути встал «эсвепешник» Никонов, которому до условно-досрочного освобождения оставалась неделя. Это именно он кричал: «Часовой, берегись!». Трижды Завьялов с Веригиным набрасывались на «козла» и, решив, что он убит, направлялись к забору. И каждый раз им не удавалось вскарабкаться на него, потому что Никонов полз за собравшимися в побег и, хрипя:

— Ничего не выйдет... — хватал питерцев за ноги озорными окровавленными руками...

Сдав дежурство, замполит пришёл домой.

— Коля, что случилось? — спросила жена.

Сын у них был взрослый и жил со своей семьёй на берегу тёплого моря.

Капитан не ответил.

— Зина, — помолчав, сказал он, — коньячку бы.

— Ладно! Сейчас. Ты умывайся пока! Я живо...

Когда Зина вернулась из магазина с бутылкой «Арарата», Фёдоров крепко спал. Ему снилась лыжня — та самая, по которой двадцать один год назад он бежал — к счастью...

Филин

Сороки летают, натываясь на деревья, сбивая крыльями листья и беспрестанно ойкая... Полёт же филина абсолютно бесшумен. Ему одному известными воздушными тропами он несётся в ночной захлавленной буреломом чащобе. Стрелой мелькает над сумрачными полянами. И, глядя на луну, запускает лапу в селезня, задремавшего на оконце воды среди сплошного рогоза...

Зайцы продолжают жевать траву, будучи уже разорванными филином на части. В его голосе — нежность дьявола, влюблённого в серебряную сковородку. Его цвет — серый. Он не смотрит на мир, это мир глядит в глаза филина и — становится шатким.

Если воронам удаётся застучать филина на отдыхе днём, радости их нет предела! Они всячески поносят рогатого своего врага, щекочут друг друга клювами и шлют поздравительные телеграммы родственникам — сорокам и галкам... И до самых сумерек продолжается возле филина их тарарам, пляски с саблями и пенье хором.

Иногда, наскучив жизнью в лесной глуши, филин прилетает в город. Сдаёт свой чемоданчик в камеру хранения аэропорта и направляется в городской парк, где занимает место на крепком суку. Там филин сидит, уставившись неподвижным взглядом в небо. А вокруг хрипит и хрустит, и испускает миазмы, и разливается электрическим светом тот самый железобетонный тупик, дорожке которого для всех нас ничего нет на свете.

Посидев, филин разжимает когти, и, выпустив сук, вертикально уходит в небо, притягивающее его, и скрывается в нём таинственно и бесследно...

Однажды, в майский полдень, на рыбалке, подкравшись к задремавшему на пне филину, я схватил его. Не издав ни звука, он погрузил когти в мою ладонь. Вскрикнув от боли, я невольно принуждён был наклониться, и тут хищник свободной лапой вцепился мне в щёку. Я кричал и бился, словно в капкане, а желтоглазая, лёгкая и острая, как бритва, птица кромсала моё лицо...

Очнулся я, когда в речке, где я удил рыбу, потухало вечернее зарево. Но потом я понял, что это не зарево... Солнце же стояло ещё высоко, и при свете его я отчётливо мог различить своё отражение в текущей воде. Нет, таким я не мог показаться на глаза ни родителям, ни любимой.

Искупавшись, я вставил в кровоточащие раны на лице веточки цветущей черёмухи и направился прочь.

В ближней деревне, чувствуя приближение ночи, горланили наперебой петухи. Мне было семнадцать, и я был влюблён в бледно-розовую девушку. Мать и отец мои, инженеры-строители, возводили свиноводческий комплекс в этой сельской глубинке. А я собирался продолжить учёбу в университете одного из больших городов. Поистине, я был чудачком!

Но теперь сердце моё бьётся одинаково ровно и тогда, когда я дремлю в дупле, и когда пикирую на бледную от ужаса спину лисицы, несущейся по лунным лугам, и когда по мне палит в упор из дустволки охотник.

Глупый, он не понимает: его картечь дырявит воздух, воду, листву...

Вот охотник подскакивает ко мне, лежащему в траве на спине, с раскинутыми крыльями. Требуется добить подранка. Выстрел! Ещё один!..

Взрыв в воздух, поднимаюсь до уровня верхушек деревьев и направляюсь прочь. Слева от меня багровеет садящееся солнце. Справа с гвалтом приближается воронья стая. Внизу — человек с ружьём...

Я лечу навстречу сумеркам. До них уже недалеко.

Альбина Соляник



От высоко летящих в небе стай...

* * *

Весенние дожди даруют влагу
Засеянным полям, лугам и рощам.
Весенние дожди — к поре, во благо
Всему живому. Рады и не ропщем
На грохот вод по трубам водосточным.
На плеск и звон ручьёв порой ночью,
Благословляя небеса — источник
Живительной воды. Пусть льёт стеною.
К утру разгонит тучи свежий ветер,
На солнце засияет в каплях зелень,
Распустятся бутоны всех соцветий.
Земля родит не виданный доселе
Высокий урожай хлебов и ягод.
Пьянящий воздух, как хмельная брага,
Насыщен ароматами густыми.
И забываем мы о зимней стыни,
О вьюгах и метелях. Скоро лето.
И первая гроза звучит приветом
Тепла и света.

* * *

Август... август... Месяц жаркий
Выдал градус на гора.
Гонит зной в сады и парки.
А какие вечера...
Пусть холодным было лето.
Ты природу не кори.
Одарил нас август светом
Цвета утренней зари.
Отгремели грозы, ливни

СОЛЯНИК Альбина Ильинична окончила Томский медицинский институт. Работала в военном госпитале, преподавала в медицинском колледже. Публиковалась в периодической печати, коллективных сборниках. Автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей России.

И жестокие ветра,
Что напомнили о зимних
Долгих грустных вечерах.
Как награда за терпенье —
Август. Терпкий аромат
Овощей и фруктов, тени
Цветников, узорный ряд.
Нежной прозолотью греет
Вязь желтеющей листвы.
Под рябинами в аллее
Кисти в зелени травы,
Как на бархате рубины,
Привлекая взгляд, горят
В кистях ягоды рябины —
Ясной осени наряд.

* * *

Скошен луг. В копнах сено.
Как солдаты в строю,
Обрамляют осины
Золотую стерню.
В небе синем, прозрачном,
Высоко журавли
Закурлычат, заплачут
И растают вдали.
Прикрываясь ладошкой
От слепящих лучей,
В небо, словно в окошко,
Долго смотрим. Зачем
Так неистово любим
Эту синь-высоту
И осенних прелюдий
Скорбь, печаль. И звезду,
Что над полем снижаясь,
Нам мигает в ночи.
А в реке, отражаясь,
Зеленеют лучи.

В стог зарывшись, вдыхаем
 Терпкий запах травы.
 В горле пересыхает
 От волнения. Мы,
 Светлых слёз не скрывая,
 Уж готовы обнять
 Эту землю без края,
 Как любимую мать.

* * *

Всё реже приезжаю на Алтай,
 На родину, где сердцу всё так мило.
 От высоко летящих в небе стай
 До голубых озёр. И, как чернила,
 Июльской ночи бархат, крик совы
 Из леса по реке доносит ветер.
 И запах свежескошенной травы,
 И пыль с зерна, что веет из повети.
 И двор крестьянский, где пахуч и чист
 Настил дощатый. Утренние зори...
 И бьющие из-под земли ключи
 С живой водой, цветущие предгорья.
 Я словно слышу щёлканье бича,
 Пастух на зорьке выгоняет стадо.
 ...И по щеке стекает, горяча,
 Слеза. И в ней слились печаль и радость.

* * *

Нас утро звуками встречало.
 Качалась лодка у причала,
 И чайка сизая кричала
 О чём-то хрипло и тревожно.
 Звала ль кого, или, возможно,
 Предупреждала о ненастье.
 ...Рыбацкие сушились снасти.
 На берегу сквозь синь белели
 И на ветру слегка звенели

На сетях грузила, ракушки
 В кустах, таясь, цикады-мушки
 Трещали крылышками звонко.
 Их звук давил на перепонки.
 Блистало море перламутром.
 Счастливым было это утро.
 Волна, играючи, плескалась
 И кошкой ластилась о скалы.
 Сухой ракушечник лизала
 И убегала в глубь залива,
 Но как-то нехотя, лениво.
 Над морем нежно-розовато
 Припудрен горизонт. К закату
 Всё переменится так странно.
 ...Затянется густым туманом.
 И к ночи волны, словно звери,
 Как в схватке, бросятся на берег.
 Сольётся море с небесами.
 Прольются небеса слезами.

* * *

Не надо грустить, коли ночь на пороге.
 За ней непременно последует утро.
 За облако спрячется месяц двурогий.
 Роса на траве заблестит перламутром.
 Рассеет рассвет за окном синий сумрак.
 Улыбка ребёнка рассеет сомненья.
 Придёт озарение солнечным утром,
 Что счастье — особое настроение.
 Когда твой ребёнок, проснувшись, лепечет
 Тебе лишь понятное что-то да кошке.
 Когда твой желанный обнимет за плечи
 И вечер подарит и утра немножко.
 ...Да, счастье — не жизнь без забот
 и печалей,
 А состоянье души очарованной.
 В суетной жизни его расточаем,
 не сознавая мгновений дарованных.

Валентина Ерофеева-Тверская



Берёзовые сны

* * *

Прохлопали заветное...
И гонит тучи ветрами
К нам с инородных мест.
От слёз глаза туманятся,
От боли души плавятся,
Когда глядим окрест:
За каждую околицей,
Под пустошью неволится
Земля — родная Русь.
Бурьянов понавросло,
Рожь потеснив, повыпростав...
В полях гуляет грусть.
Берёзы белокорые,
Нравом непокорные —
На четырёх ветрах.
О, сколько русских воинов
Под ними упокоено —
Да будет свят их прах!
Неймётся тучам с Запада —
С восходом, днём и за полночь,
Грозятся взять в полон...
Очнитесь, православные,
Неужто поослабли мы,

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна родилась в Омске. Окончила Омский техникум советской торговли, Московский коммерческий институт, оканчивает юридический факультет МЭСИ. Секретарь правления Союза писателей России, председатель правления Омской организации СПР. Член-корреспондент Академии Поэзии. Публикации в альманахах: «Иртыш»; «Антология поэзии». В журналах: «Наш современник», «Москва», «Звонница», «Литературный Омск», «Омское наследие», «Сибирские огни», «Сибирские Афины», «Мир увлечений», «Омская муза», «Сибирь и Я». В коллективных сборниках «Город на Иртыше», «Бабье лето», «Завтра и вечно». В антологиях «Любовная лирика 19-20 вв.», «Сегодня и вчера», «Формула времени». Автор четырёх поэтических книг.

Церквей не слышим звон?!
С разором миром справимся,
На то и духом славимся,
Пребудет с нами Бог!
Посеем лён с пшеницею...
И русские традиции
Пусть возродятся в срок.
Ах, Русь многострадальная,
Душа исповедальная,
Пречист-лазорец цвет.
Умывшись ранней зорькою
Стань сильною и зоркою,
Храни Господний свет!

* * *

Тайной грустью оплавленный вечер
Над просторами не удержать.
Золотой полосой подсвечен
Месяц будет в зените дрожать.
Мне печалиться, знаю, недолго:
Приглушающе спустится тьма,
Чтоб я нежность, как в стоге иголку,
До расвета найти не могла.
Месяц жёлтый — уютно раскалённый,
Проутюжит махровую тьму.
Я с рассветом очнусь окрылённой,
А за что и сама не пойму!

* * *

Я хожу потерянной
С мыслями о том,
Что беда намеренно
В мой стучится дом.
Новости пугающей
Постоянно жду,

Памятью страдающей
 Ворошу беду.
 Сколько было прожито
 Мной тревожных лет.
 Сколько подытожено...
 И сомнений нет,
 В том, что перепутала
 Все пути беда,
 Не моей заботою
 Зреет лебеда.
 Не моей кручиною
 Тучи нагонять,
 Не лихой кончиною
 Радость прибавлять.
 Прочь поди, немилая,
 Душу не тумань,
 Растворишься, мимо ли
 Порешишь сама.
 Горькие пророчества
 Выдать не прошу.
 Провожу без почести,
 В дом не приглашу!
 Не скреби кленовою
 Лапою в окно,
 Я сама бедовая,
 Мне не всё равно,
 Я сама упрямая,
 Я сама вредна...
 Вкось пойдёшь ли, прямо ли,
 Прочь ступай, беда!
 По тебе печалиться
 Откровений нет.
 Чётко намечается
 Счастья робкий след!

* * *

Ветра повсюду, вольные ветра.
 Крошатся тучи, льют избытки влаги.
 Хмельным угаром полнятся овраги.
 Промокший месяц стынет до утра.

Весна с полей ладонью снег смела,
 Которого нападало с избытком.
 Туманит даль. Расплывчато и зыбко
 Темнеет роща на краю села.

Чернея, блещут спины ручейков,
 Что змейками спускаются в ложбины.

Деревья принимают посвист в спины
 Сквозных, залётных, тёплых ветерков.

Не оступиться в слякоти весны,
 Да и вообще, нигде не оступиться...
 Ещё неделя, с юга хлынут птицы —
 Ворвётся гам в берёзовые сны.

* * *

Звезда сквозь пальцы, и мечты сквозь
 пальцы —

Не успеваю что-то загадать.
 Когда бы всё заранее узнать...
 Так словно гладью вышивать на пяльцах, —
 Чтоб рушнику нарядный вид придать.

Ночная тишь прохладой обкатила
 От выплесков небесного светила.
 Пытаясь в чём-то вдруг предостеречь,
 По Млечному Пути скользнула речь...
 Я, глядя в небо, о словах забыла.

Ладони хоть сжимай, хоть не сжимай,
 Но зазвенел, взрывая ночь, трамвай, —
 Благодарю, что мой покой нарушен.
 Сияет небо многозвездьем кружев,
 В котором плавно утопает май.

* * *

О чём бы нам ни говорить,
 Чего бы вьюга ни сулила,
 Я дверь внезапную открыла,
 Уже не в силах затворить.
 И расширяются зрачки,
 Внимая смыслу тихой речи.
 На русском говорю наречье, —
 Что недосказано, прочти
 В тугом сплетенье междометий.
 Губ опустились уголки —
 Взметнулись две твои руки,
 Что мне дороже всех на свете.
 О, эти ветви белых рук, —
 Твоих негодований всплески.
 Задёрну в спальне занавески,
 Чтоб страстью исцелить недуг.

Триптих Преумножая печали

1

Радужные планы на четверг
ничего, наверное, не стоят.
Улетает утром человек,
улетает...

будто за три моря...

Праздником пропитано жильё,
но дрожат пахучие иголки:
бродит одиночество моё
возле новогодней пышной ёлки.
Оплелись заветные мечты
По гирлянде красочной огранкой.
Ну откуда столько пустоты,
наплывает в сердце спозаранку?!
...Улетает.

В доме тишина

бродит тенью непреодолимой,
мне сейчас соломинка нужна,
удержаться от разлуки длинной.
Взлёт — и небо треснет пополам,
заметёт глаза и душу вьюга.
Я сегодня всё бы отдала,
чтобы нам не потерять друг друга.
Чтобы видеть, слышать, ощущать,
принимать и колкости, и нервы...
Рождество!

И верить, и прощать,
и ценить последний миг, как первый!

2

Не остудить бы душу январём —
он так упрямо
серебрит и вьюжит.
Метельным ветром город разорён,
волчицей в подворотнях
рыщет стужа.
Над городом пронзительно дымы
уходят в небо,

словно при сраженьях
добра и зла, лучистого и тьмы
и снегири пестрят

самосожженьем.

Голубизной тумана тянет тьма
свой длинный шлейф,

и стынут даже звёзды,
но вспыхивают окнами дома —
надеждами

в тугой ночи промёрзлой.

Настанет миг, и заструится снег
над городом,

пространство согревая.
Душа отгадет, и сквозь трепет век
почувствую,

возрадуюсь, узнаю
улыбки милой добродушный свет.

3

*...Душа у Бога просит снега...
Нина Ягодинцева*

Обжечься леденящими ветрами, —
Чуть по-иному поглядеть на жизнь,
синоптики в который раз соврали...
Душа в ознобе, словно лист дрожит.

Мне нет спасенья, нет нигде приюта,
иду-бреду куда глаза глядят,
где сердцу одиноко, где безлюдно,
там, где метели воют и скулят.

Как от себя ни прячься и ни бегай,
не убежать из собственной тюрьмы...
Душа у Бога жарко просит снега,
который побеждает силы тьмы.

Велик Господь, и многогранны дали,
и бесконечны вызовы судьбы.
Преумножая многие печали,
я научилась верить и любить.

Виктор Власов



Рассказы

Дежурный у вечного огня

Конец июля. Стояла сильная жара. Люди облепили фонтаны у Музыкального театра, на Тарской и на улице Гусарова. Пары постарше приходили и мирно сидели на парапетах, время от времени кидая монетки, среди ребят помладше нашлись смельчаки, которые искупались. Я бы тоже окунулся в прохладную воду фонтана, лихо бы нырнул, словно амфибия. Но я выполнял важную миссию — был свидетелем на свадьбе лучшего друга. Прожив год со своей пассией, наконец-то тёзка решил жениться, а мой отец подрабатывал в качестве шафёра. По сложившейся традиции все молодожёны посещали значимые места нашего города — самим посмотреть и себя показать. Последнее место, куда перед свадебным пиршеством привёз нас отец — мемориал «Вечный огонь», памяти событий Гражданской войны. Свидетельница отлучилась за гвоздиками, а мы втроём пошли фотографироваться на площадку. Изнывая от жары, жених выглядел замученным. Улыбался через силу и случайно наступил на красивое пышное платье жены.

— Витя, как слон?!

Передав фотоаппарат отцу, я подошёл к вечному огню и засмотрелся на него. Кончик пламени ярко синел, бился, как живой. Вокруг полыхавшего жерла алели цветы: букеты роз

и гвоздик. Незаметно около меня оказался человек на коляске. Ссутулившись, он будто не хотел, чтобы его видели.

— Не обращайтесь внимания, — грустно улыбнулся он, пальцами спустив тёмные очки на нос. Он посмотрел на меня внимательно, и показалось, хотел что-то сказать. Лоснились тёмные седеющие волосы зачёсанные назад. На загорелом широком лбу и на бритых щеках покоились волны морщин. Белый платок выглядел из кармана потёртого серого пиджака, на котором поблёскивали металлические пуговицы. На них изображался «серп и молот». У незнакомца не было ног — брюки заворачивались под самый живот.

Моё нутро заныло, я сочувственно посмотрел на беднягу. Промокнув пот на шее платком, он подмигнул:

— Вечный огонь — полезная штука! Вы об этом не задумывались, но сейчас расскажу!..

Вытащив пятьдесят рублей, я протянул ему. Глядя то на красавицу-жену, то на цветы, которые принесла свидетельница на постамент, он лихо повернул коляску. На её спинке висела капроновая сумка. Оттуда выглядели два шампура.

— Есть и сковородка, — добавил он. — Пожарить сосиски на огне — милое дело, прямо шашлык. Да, мы до сих пор не знакомы? Василий Фёдоров.

Он крепко пожал мою руку и, мельком посмотрев на неё, заключил:

— Не любишь физически трудиться, Витёк.

— Предпочитаю умственно... — ошарашенно ответил я.

— Умственно — тоже необходимо, — иронично ответил он.

Василий привлёк внимание молодожёнов, мой отец слушал удивлённо, только свидетельница нахмурилась.

Виктор Витальевич ВЛАСОВ родился в 1987 году. Окончил Московский Институт Иностранных Языков (Омский филиал). Состоит в литературном объединении имени Якова Журавлёва. Работает преподавателем английского языка. Публиковался в журналах «День и Ночь», «Сибирские Огни», «Преодоление», литературном альманахе «Складчина». Выпустил пять книг. За первую, повесть «Красный лотос» о средневековой Японии, в 2007 году стал лауреатом областной молодёжной литературной премии имени Ф.М. Достоевского. Живёт в Омске.

— Вчера меня отсюда выгнали, — признался он, вскинув редкие дуги бровей. — Подходит нетрезвый молодой парень и говорит:

— Катись подобру-поздорову, мол, дед вовевал, а я катаюсь... Я отвечаю: сейчас подсолю яичницу и покачусь... Эх, люди мои, — покачал он головой, глядя на огонь отрешённо. — Суп варю на огоньке, жарю-парю!..

Он перехватил взгляд свидетельницы и печально проговорил:

— Кладите дежурному Фёдорову цветы, кладите, барышня, — Василий проделал жест рукой. — Или можете мне отдать их сразу, ведь они завянут и никому не помогут. Я их аккуратно возьму и продам, а вам пожелаю здоровья. Чему вы удивляетесь, я потерял ноги, но обманывать людей не привык.

— Держи, дружище, — новобрачный тоже подал инвалиду пятьдесят рублей.

Он обрадовался, выпрямившись в коляске. Блеснули агатами его глаза.

— Вы знаете, с кем говорите? — вдруг спросил он, гордо подняв подбородок.

На миг мне показалось, что новый знакомый — совершенно здоровый человек.

— С чемпионом параолимпийских игр, — ответил Василий, стрельнув огненным взглядом в меня. — Давай наперегонки? Дам тебе фору. Снимешь пиджак, ботинки. Босиком легче.

— Извините, — тихо произнесла Олеся, жена друга. — Мы торопимся — гости ждут.

— Человек этикета! — радостно продекларировал Василий, широко улыбнувшись. — Последний трюк позволите, прекрасная мадам?

— Только последний, — согласилась она.

Он вытащил длинный самодельный ремень из сумки и туго привязал себя к сиденью коляски. Раскачавшись, он встал на руки, поднял и скрипучую коляску. Стоя вниз головой, он покраснел и спросил:

— Слабо повторить?

Повернувшись несколько раз, не удержался. Завалившись на бок, выругался.

— Что стоите, помогайте, родимые! — попросил он.

Я оторопело переглянулся с отцом, муж с женой, свидетельница стояла в замешательстве.

— Сам поднимусь, — лёжа на боку, отмахнулся он. — Пятьдесят рублей дайте.

Мой отец сунул акробату купюру. Василий, кряхтя, рывком выровнял коляску. Попрощавшись, глядел нам вслед. Мы забрались в машину. Обратную дорогу молчали, каждый думал о своём.

Остановка

В маршрутке около меня сидел парень с унылым лицом, в тревоге перелистывал страницы мятой общей тетради и, казалось, разобрал почерк с трудом. Начало июня, понятное дело: сессия, стресс. Прикусив нижнюю губу, он оглядел окружающих в салоне, словно в надежде на помощь. Снова его пристальный взгляд прилип к записям, выделенным жёлтым фломастером. Неуверенность и страх владели им, он беспрестанно облизывал губы, хмурил брови. И вот в маршрутку вошла красивая полная девушка в открытом сиреновом сарафане, с пышной бело-жёлтой шевелюрой. Она села рядом с парнем. Сложив пухлые руки на тёмной сумочке, блестящей мокрым латексом. Мельком глянув на текст, который неотрывно изучал парень, тихо спросила:

— Экзамен, да, волнуешься? Готов?

Подняв голову, он глубоко вздохнул точно от внезапного прилива вдохновения, неопределённо кивнул. Её чистые белые, как пастила, щёки зарумянились, лицо хранило ласковое, по-детски наивное выражение. Заволновавшись, скомкав тетрадь, он пожаловался, мол, мало времени выделили на подготовку. Трогательно сложив губы, испытала жалость к нему. И не только она, но и, представьте себе, такой чёрствый человек, как я, сочувствовал бедняге. Они познакомились:

— Олеся, — застенчиво произнесла она, улыбнувшись по-ангельски. Сверкали как ясное небо её большие светло-голубые глаза.

— Фёдор, — торопливо назвал он.

Они мило улыбнулись друг другу, и парень снова пожаловался на трудности в учёбе, она успокоила, внимательно глядя в лицо. Добавила, что сильно волноваться не следовало, иначе случаются боли в пояснице и животе. Пассажирка преклонного возраста, наклонившись к ней, призналась, что испытывала боль в спине, причём давно.

— Ах, как я вас понимаю! — с грустью закивала Олеся. — У моей бабушки радикулит.

Пассажирка оказалась не единственной, захотевшей поделиться невзгодами, подключился мужчина лет тридцати:

— Да, сейчас не только люди в возрасте страдают болями в спине. Вот, недавно у меня прострел в пояснице случился, думал, что не поднимусь.

— К невропатологу ходили? — озабоченно уточнила Олеся. — Не переживайте — болей

будет меньше... Как-то я перенервничала, и голова болела...

— Мне сейчас что-то нездоровится, — проговорил старик, сидевший со мной. — Возраст, верно, даёт о себе знать, на пенсии несколько лет, а жизненных проблем не убавилось.

— Займитесь любимым делом и думайте о хорошем, — прозвучал Олесин голос, трепетный, успокаивающий, как плеск волн о берег Иртыша.

За короткое время девушка сумела разделить трудности и проблемы пассажиров. Как ей удавалось? Из какого-то бездонного кармана своей души она черпала доброту, способную облегчить любую боль, избавить от невзгод.

Фёдор давно убрал тетрадь в папку и расспрашивал девушку о ней самой, она отвечала с выражением, со спокойствием, предававшим её лицу особую прелесть. Казалось, они давно знали друг друга, не таили секретов.

Она заканчивала педагогический институт, работала учителем русского языка и литературы на полставки в школе, увлекалась чтением художественной литературы, также ей нравилась сентиментальная поэзия. Она умела играть на фортепьяно и на флейте, ухаживала за цветами дома и в лаборантской, обожала заниматься с детьми, прекрасно готовила еду, особенно умело стряпала пирожки и торты. По её мнению, обладала множеством прекрасных качеств: не сварливая, терпеливая к людским слабостям,

всегда в настроении, озорная и полная отрады, как маленькая девочка.

Я, слушая её упоительно-нежный голос, глядя на кроткое лицо, восхищался, люди в салоне наверняка тоже. Девушка — ангел. Общаться с ней интересно и просто.

Фёдор, набравшись храбрости, попросил номер телефона. Она аккуратно взяла его сотовый телефон, похвалила за выбор именно этой модели, пощёлкала по клавишам панельки, медленно опустила на коленку парня. Предупредив водителя об остановке, увлекала Федю душевной беседой о моральных ценностях, которые, как досадно, что отходили на второй план.

— Я не такой, — поклялся Фёдор, мужественно выпятив подбородок.

Бросив рассеянный взгляд в окно, Олеся вдруг вытаращила глаза, залившись в щеках жгучим багрянцем.

— Я просила на ТАРСКОЙ!!! — рывкнула так, что Федя подскочил, испуганно уставившись на её пылавшую щёку и вздыбившиеся на затылке волосы. — Не первый раз ведь проезжаете, глухой, уши мыть надо!

Пассажиры, как ошарашенные, глядели на неё с замершими лицами, я обомлел, не веря ушам и глазам.

— Позвонишь, Федь, — добродушно осклабилась она, выпорхнув из маршрутки, словно птичка.

— Хорошо, — не сразу ответил он в смятении.

Александр Лейфер



Три школьных здания энд «Жара»

Учиться в первый класс я пошёл в 1951 году. В омскую... женскую школу № 13.

Дело в том, что обучение тогда было ещё раздельным, но, видимо, система эта себя уже изживала, на нарушения её смотрели сквозь пальцы, поэтому родители отдали меня в 13-ю. Рядом с ней стояла другая школа — 17-я, мужская семилетка. Именно в неё по идее я и должен был поступить, но школа эта считалась «хулиганской», репутация у неё была плохая, вот и отдали меня родители в более спокойную и уважаемую 13-ю.

Надо сказать, что я был в нашем классе далеко не единственным исключением — в нём училось ещё около десятка мальчишек. Забегая далеко вперёд, скажу, что с одним из них, Толей Царенко, я, много лет спустя, встречался: он стал директором Омского театра юного зрителя. Мы с ним не раз сидели за одним столиком в кафе Дома актёра, бывал я и в его театральном кабинете. К несчастью, сердечная болезнь рано свела Толью в могилу. Человеком он был мягким, приветливым. Да и со своими директорскими обязанностями справлялся, как говорили, хорошо.

Обе школы — и 13-я и 17-я — находились недалеко от домика моей бабушки, где жила тогда наша семья. Вокруг было море разливанное таких же домишек — одна из городских окраин — Восточные и Ремесленные улицы.

ЛЕЙФЕР Александр Эрахмиэлович родился в 1943 году в Омске. Окончил отделение журналистики Казанского университета. Работал в омских СМИ, в Омском Литературном музее им. Ф.М. Достоевского. Выпустил несколько документальных книг, за одну из них — «Вокруг Достоевского» и другие очерки» (Омск, 1996) — удостоен звания лауреата премии Администрации Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства». Сопредседатель Союза российских писателей, председатель Омского отделения СРП. Редактор альманаха «Складчина», член редколлегии журнала «День и Ночь» и альманаха «Голоса Сибири». Заслуженный работник культуры РФ.

13-я школа до сих пор располагается в том же солидном двухэтажном каменном здании, что и тогда. Уже в наше время я случайно побывал в нём вновь. Удивила установленная на здании мемориальная доска. Оказывается, в годы войны в этом здании формировались два воинских соединения — 282-я Тартуская стрелковая дивизия и 712-й отдельный линейный батальон связи. А мы, школьники, ничего об этом не знали. Тогда как-то было не принято интересоваться историей своей школы. Не принято было говорить и о минувшей войне, хотя она напоминала о себе на каждом шагу. Например, на всех базарах и возле располагавшихся на каждой трамвайной остановке закусочных можно было встретить инвалидов-колясочников, предсказывающих судьбу. В колясках у них имелись клетки с учёными морскими свинками или щеглами, которые по приказу хозяйина вытаскивали из специальных ячеек всем желающим небольшие свёрнутые листки бумаги, на них были отпечатанные на машинке тексты предсказаний. Рекомендации нынешних столь широко распространённых гороскопов в принципе очень напоминают те наивные, полуграмотные тексты.

Проучился я в 13-й школе два года. А потом система раздельного обучения перед своей конечной вдруг ненадолго воспряла, так иногда бывает и с безнадежно больным человеком — перед смертью он неожиданно на несколько дней или даже часов начинает чувствовать себя получше. Так вот, тогда кто-то наверху строго-настрого приказал «вычистить» мальчишек из женских школ. И в третий класс я пошёл учиться в страшную мужскую школу № 17.

Сразу скажу, что ничего страшного там со мной не случилось. Наоборот — классным руководителем у нас была фронтовичка Варвара Семёновна. И я до сих пор благодарен этой несколько суровой женщине за то, что она научила меня воспринимать Книгу. Читать-то я начал, спаси-

бо маме, тоже педагогу, вообще ещё до школы. А Варвара Семёновна завела на своих уроках обязательное чтение вслух. Те, кто умел это делать получше других, два-три раза в неделю по очереди читали всему классу разные хорошие книги. Меня «отряжали» на это довольно часто. До сих пор помню то волнение, с которым я каждый раз приступал к такому публичному чтению. И хотите верьте, хотите нет — до сих пор (а ведь полвека с лишним прошло!) я, начиная читать (про себя, конечно) художественный прозаический текст, невольно прикидываю — а как бы я стал читать его вслух?..

17-я школа была тоже двухэтажная, но деревянная, срубленная из брёвен. Как оказалось, и это здание тоже связано с Великой Отечественной войной. Об этом мне в своё время рассказал весьма компетентный человек — известный омский краевед Ференц Карольевич Надь (1929—1995). «А ты знаешь, — сказал он мне, когда узнал, что я учился в 17-й, — во время войны здесь было одно из самых страшных мест Омска — специализированный госпиталь для потерявших на фронте зрение...».

Лет, однако, 15—20 назад здание 17-й школы за ветхостью разобрали.

Отучившись в третьем классе, я вернулся в 13-ю школу, так как раздельное обучение отменили.

Нынче зимой меня пригласили в один изысканный литературный салон, где говорят о книжных новинках, встречаются с писателями, слушают хорошую музыку. А также пьют чай или кофе с каким-то необыкновенно вкусным фирменным печеньем. Вот за таким чаепитием ко мне подошла незнакомая женщина средних лет и, волнуясь, спросила, помню ли я, кто учил нас в 13-й школе русскому языку и литературе. Вообще-то с фамилиями, точнее — с их запоминанием, у меня всегда были большие проблемы — я часто их забывал и забываю, не раз попадал из-за этого в неудобное положение. Но тут будто кто-то нажал в голове нужную кнопку: без всякого напряжения я ответил, что не только помню Симу Борисовну Протопопову, но считаю её одним из тех, кто привил мне интерес к литературе.

— Может быть, вы тогда помните и её мужа?

И опять, будто щёлкнула под причёской ещё одна соответствующая кнопка:

— Анатолий Васильевич Зябкин, он у нас не преподавал, но мы знали его как завуча.

Оказалось, что со мной разговаривает... дочь Симы Борисовны, что та жива, помнит меня, передавала привет! Не знаю, прав я или нет, но

встретиться с ней я не решился. Также передал огромный привет, слова благодарности за тот заряд, который получил когда-то на её уроках. Передал в подарок и одну из своих книжек, сделав на ней соответствующую надпись.

Когда я учился уже в шестом классе, наша семья переехала в другой район Омска — тоже на окраину, на Линии. Переезд состоялся прямо посреди учебного года, и мне с ходу пришлось «въезжать» в жизнь совсем незнакомого подросткового коллектива. Теоретически это было непросто, но практически — скажу честно — никаких особых трудностей не запомнилось.

Школа № 65 располагалась (и располагается сейчас) в большом четырёхэтажном здании, построенном, как это явствует из цифры на его фасаде, в 1937 году. Никаких дурных ассоциаций цифра эта у меня тогда не вызывала. Двадцатый съезд родной коммунистической партии, на котором обнажилась страшная суть этой даты, к тому времени уже состоялся. Но до съездов ли мне тогда было... Я, тринадцатилетний, с размаху влюбился тогда в одноклассницу Нину — страдал, вздыхал, старался почаще попадаться ей на глаза... Потом — через год или два, точно уже не помню, — выяснилось, что ещё сильнее я люблю Розу — свою бывшую соседку по прежнему месту жительства. Я стал чаще навещать оставшуюся в своём старом доме бабушку. По бабушке я тоже скучал. Но, признаюсь, что не реже одного-двух раз в неделю приезжал не столько к ней, сколько к Розе. Страдал, вздыхал, старался почаще попадаться ей на глаза... А в меня примерно тогда же влюбилась Оля из параллельного класса — роскошная девица с большими голубыми глазами и толстенной косой. Я, дурачок, был к её чувствам стопроцентно равнодушен, а она, как я теперь понимаю, страдала, вздыхала и старалась почаще ...

В этой третьей и последней моей школе у меня было всё, что и должно быть, — любовь, друзья, чтение запоем, увлечение стихами Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной, первый алкоголь, нелюбимые и любимые предметы и учителя... Среди последних хочу помянуть добрым словом Юлию Николаевну Колосову, преподававшую нам русский язык и литературу. Дамой она была весьма скептической и едкой — таким, что называется, палец в рот не клади. Носила короткую стрижку типа каре и курила «Беломор». Иногда читала вслух перед классом мои сочинения на вольные темы, ехидничая при этом по поводу пропущенных запятых, которые должны стоять на своих местах даже в таких претендующих на нечто большее, чем требует школьная программа, тек-

стах. В конце одиннадцатого класса, когда я уже твёрдо решил поступать на отделение журналистики одного из провинциальных университетов, Юлия Николаевна написала мне свою - отдельную, дополнительную - характеристику, и я приложил её к посылаемым в приёмную комиссию документам.

Но сегодня речь не об этом. Сегодня, следуя заявленной в названии этого эссе теме, я прежде всего должен рассказать о здании 65-й школы. А оно, как оказалось, тоже самым непосредственным образом было связано с войной, уже к зиме 1941—42 года школу из него выселили, так как ещё задолго ДО начала войны здесь планировалось разместить один из эвакогоспиталей.

Я не оговорился: война ещё не началась, ещё не были взломаны и польские границы, в высоких правительственных кабинетах нашей страны и её будущего смертельного врага ещё не составляли и не подписывали печально знаменитый пакт о ненападении, а во многих городах нашего будущего глубокого тыла уже строили десятки, если не сотни, одинаковых школьных зданий. В них предусматривались широченные лестничные марши и площадки, по которым так удобно было потом затащить и разворачивать носилки. Двери всех классов выходили в этих школах в коридоры — тоже широкие, похожие на длинные залы; в них без особого напряжения ставили потом дополнительные койки, и было не так уж от этого и тесно. Одним словом, проект такого школьного здания заранее предусматривал, что в течение одного-двух дней его без особых трудностей можно переоборудовать в госпиталь: выбросил парты, затащил койки и принимай раненых... Обо всём этом мне рассказал всё тот же Ференц Надь. Помню, мы долго рассуждали с ним о том, как совместить такую предусмотрительность с версией о ВНЕЗАПНОМ нападении фашистской Германии. Ведь только в Омске таких типовых зданий имеется несколько...

А о войне, в местном преломлении данной темы, нам ничего не говорили и в 65-й школе. На уроках новейшей истории Великую Отечественную нам представляли как десять победоносных сталинских ударов — изменения в школьную программу внесли много позже двадцатого съезда и сноса всех имевшихся в Омске бронзовых и каменных памятников Верховного главнокомандующего. Об эвакогоспитале, о десятках выпускников нашей школы, не вернувшихся с фронтов, мы, будущи школьниками, так ничего и не узнали...

Теперь о «Жаре». Так называется новый стриптиз-клуб, открывшийся в нашем городе ме-

сяца три-четыре назад. Его реклама размещена чуть ли не на всех главных магистралях Омска. В центре этой рекламы расположено символическое изображение сердца — олицетворение, как, видимо, следует понимать, любви. Но если приглядеться чуть внимательней, нетрудно понять, что одновременно рисунок изображает и женскую, так сказать, корму — на «сердце» натянута символические мини-трусики.

Не стал бы писать обо всей этой хренотени, ею сейчас никого не удивишь, поскольку подобных заведений полно везде. Фишка — для меня — заключается в том, что расположена «Жара» не где-нибудь, а в здании... бывшего Куйбышевского райкома комсомола. Именно здесь осенью 1958 года, в день 40-летия ВЛКСМ, меня принимали в комсомол.

Волновался, помню, я жутко. Мало того, что осенью 58-го мне, родившемуся в конце декабря, ещё не исполнилось полных пятнадцати, и могли тормознуть уже из-за этого. В школьном комсомольском комитете нас сильно напугали, подчёркивая, что вступление наше особенное, происходящее в день сорокалетнего юбилея, что гонять по Уставу в райкоме станут усиленно, и вообще — в этот день будут принимать самых достойных, в то время, как мы... Ну, а кое-какие грешки у меня за плечами уже и в 15 лет имелись...

Коммунистов, полжизни вешавших мне и тысячам таких, как я, лапшу на уши, честно скажу, — не люблю. Достаточно, например, вспомнить государственную сказку про построение коммунизма к 1980 году. «Партия торжественно провозглашает, — было написано тогда на всех заборах, — нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Хотя, справедливости ради, следует заметить, что лапша — явление вневременное, муки для неё хватает и в наши посткоммунистические годы. Что же касается комсомола, то обижаться мне на него не за что. В комсомоле мне было интересно и в чём-то даже комфортно. Был комсоргом студенческой группы, потом — членом комитета ВЛКСМ всего университета. Комсомольской была наша с моей первой женой Галей свадьба. По комсомольской путёвке я в составе студенческого стройотряда поехал в 64-м году на целину — мы строили в Северном Казахстане школу, которая, как мне недавно рассказали, до сих пор работает. А поскольку несколько своих выходных мы в ту осень потратили, помогая обустроить совхозный зерноток, меня, как, впрочем, и всех остальных, наградили тогда памятным значком «Участнику уборки десятого целинного урожая». Мои первые публикации со-

стоялись не где-нибудь, а в газете «Комсомолец Татарии». Сотрудниц этой славной газетки Юлю Колчанову и Надю Сальтину до сих пор считаю своими первыми профессиональными наставниками.

Вернувшись после учёбы в Омск и начав — согласно распределению — работать в редакции газеты «Омская правда», я сразу же параллельно стал сотрудничать и с комсомольской газетой «Молодой сибиряк». И совсем не для того, чтобы сшибить на стороне дополнительный гонорар. В молодёжной газете можно было даже тогда напечатать то, что никогда не прошло бы в более серьёзной партийной. Нравы в редакции молодёжки были немножко повольней, в ней работали замечательные ребята, ставшие со временем моими личными друзьями, — Виталик Попов (1935—1987), Слава Карнаухов (1940—2008), Миша Сильванович, Витя Чекмарёв, Миша Малиновский... Позже я на несколько лет стал литконсуль-

тантом этой газеты. И с удовольствием публиковался в ней до тех пор, пока в наступившую эпоху гласности и свободы печати её благополучно не загубили...

А вместе с обкомом комсомола, точнее с его отделом пропаганды, мы в своё время раскрутили немало интересных литературно-молодёжных дел (или, как теперь модно выражаться, проектов) — семинаров начинающих авторов, литературных праздников, конкурсов...

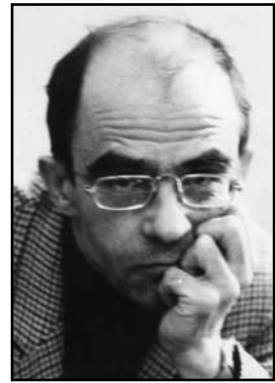
В целях экономии печатной площади умолчу о некотором количестве встретившихся на моём довольно-таки извилистом личном мужском пути членов ВЛКСМ противоположного пола.

Так что обижаться на покойный комсомол мне совсем не след.

...А что — может, взять да и посетить как-нибудь бывший райком? Поглядеть, достаточно ли ударно трудятся у своих шестов нынешние, капиталистические, «комсомолки»?..



Геннадий Великосельский



Геннадий Павлович Великосельский родился 23 мая 1947 года в селе Крутинка Омской области. У родителей не сложились отношения ещё до его рождения, и воспитанием сына занималась одна мать. Время было послевоенное, тяжёлое... Учительский труд не давал возможности для достойного содержания себя и ребёнка, поэтому в конце пятидесятых мать переехала в Омск, где жили её сестры, нашла работу, далёкую от специальности, но с перспективой получения жилья, отвела сына в школу.

Собственно, с конца пятидесятых и начинается биография того Геннадия, которого знали все мы. О раннем детстве, согретом нежной любовью бабушки по материнской линии, хранящей старые добрые семейные традиции, окончившей гимназию и пробудившей во внуке страсть к чтению, Геннадий рассказывал мало. Он вообще мало рассказывал о себе, предпочитая слушать. И это редкое качество, как и аккуратность, педантичность, честность, строгость к себе и готовность помочь любому, нуждающемуся в поддержке, — тоже родом из раннего детства.

В школе успешными были только русский и литература, точные науки Геннадию не давались. Да и материальное поло-

жение оставляло желать лучшего... Думы о продолжении образования так и остались думами. Однако это не мешало самообразованию, чем Геннадий и занимался всю жизнь. Страсть к чтению редко остаётся просто страстью к чтению, желание написать что-то самому идёт бок о бок с этой страстью. Устоять перед таким соблазном могут немногие. Не устоял и Геннадий. Стихи, рассказы, даже приключенческий роман, который, впрочем, был сожжён недописанным... Всё, как обычно. И путь в литературное объединение при Омской писательской организации тоже обычный. Нужна оценка творческих усилий, нужны товарищи по интересам, «разбор полётов», в конце концов, и доброе напутственное слово.

Здесь же, в литературном объединении, Геннадий познакомился с поэтом Аркадием Кутиловым. Это знакомство оказалось счастливым для обоих. Бездомный, бесшабашный, не вписывающийся в общепринятые рамки талантливый вольнодумец обрёл не только восторженного поклонника, но и надёжного, верного друга, а начинающий литератор, определивший свою судьбу позднее, — единомышленника, чьё творчество помогло ему в дальнейшем найти свой путь в литературе.

Обсуждение рукописей на семинарах, публикации в омской периодике, участие в нескольких коллективных сборниках... По меркам того времени, это было уже начало, но на самостоятельную книжку, опять же по меркам того времени, не тянуло. Требовались дополнительные усилия.

К началу восьмидесятых Геннадий был уже женатым человеком, отцом двоих де-

ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ Геннадий Павлович (1947–2008). Родился в с. Крутинка Омской области. В 1957 году вместе с матерью переехал в Омск. Работал электриком, часовщиком, художником-оформителем, с 1980 по 2007 год — реставратором в музее им. Врубеля. Страстно увлекался литературой. Был членом литературного объединения при Омской писательской организации. Писал короткие юмористические рассказы, повести. Публиковался в местной периодике, в журналах, в коллективных сборниках.

тей, работал реставратором в музее имени Врубеля. Эта работа, поначалу казавшаяся одной из многих, так органично вошла в его жизнь и так увлекла его, что до конца своих дней он уже не мыслил себя без неё.

Дружба с Аркадием Кутиловым продолжалась. По-прежнему дом Геннадия был единственным, где Аркадию открывали дверь и давали приют в любое время суток, помогали и поддерживали, как могли и чем могли. Однако многочисленные попытки Геннадия, его друзей и родственников упорядочить жизнь Кутилова неизменно заканчивались крахом.

В мае 1985 года Аркадий погиб при невыясненных обстоятельствах. Записные книжки, тетради, калька со стихами, вынесенная в каблуках ботинок товарищем по несчастью из мест лишения свободы (Кутилов отбывал срок за бродяжничество), — всё хранилось у Геннадия и находилось в постоянном движении. Кто-то брал почитать, кто-то — переписать или показать знакомым. Строго хранить архив не было необходимости: жизнь казалась вечной, ручки и карандаши — под рукой, Аркадий — рядом и, значит, всегда мог всё восстановить, вспомнить, нарисовать. Да он и сам частенько присылал людей, в основном работников милиции, с записками, где просил отдать пришедшему одну-две тетрадки или несколько рисунков, чтобы, откупившись таким образом, оказаться на свободе...

После гибели Аркадия на «хождение» архива было наложено строжайшее вето.

Грянувшая вскоре перестройка всколыхнула всю Россию. Открылись новые возможности. То, о чём раньше боялись даже мечтать, могло стать реальностью в считанные сроки. Поэт Евгений Евтушенко, занимавшийся в то время составлением антологии русской поэзии, прибыл ненадолго в Омск, чтобы повидаться с друзьями-художниками. Не обошлось без выступлений в Концертном зале, встреч с местными писателями... Именно в эти дни молодые поэты — друзья Геннадия, передали мэтру тонкую тетрадку переписанных наспех кутиловских стихов — не самых лучших, разумеется, лучшие не пришли в голову. Но и эти стихи произвели на мэтра впечатление. Евтушенко стихи взял. И через

некоторое время, когда визит российской знаменитости стал забываться, в «Огоньке», где печатался журнальный вариант антологии, появились кутиловские стихи.

Эта первая серьёзная публикация так потрясла тихий Омск, что Аркадием заинтересовалось местное издательство. Геннадия, как яростного пропагандиста Кутилова, немедленно призвали перед светлые очи главного редактора, и машина закрутилась...

Первая книга Аркадия Кутилова «Провинциальная пристань» вышла в 1990 году в Омске. Редактировала её Татьяна Четверикова, известная омская поэтесса, составлял Геннадий, а предисловие написал поэт Владимир Макаров, который даже не предполагал, что у бесшабашного бродяги могло быть таким богатым творческое наследие. Этой книге, без сомнения, суждено остаться лучшей, в ней всё: от формата (удобный для чтения), подбора стихов (самые пронзительные), названия (удивительно точное, автор Татьяна Четверикова) до обложки (без гляцевых излишеств) — характеризует эпоху лучше, чем многотомные труды исследователей. Да, именно такой и должна была быть эта книга, где единственным ярким пятном являлось содержание, не придавленное внешними эффектами.

Вторая книга Кутилова «Скелет звезды», выпущенная в 1998 году тем же издательством, была другой и по формату, и по объёму, и по содержанию. Но и задача перед творческой группой стояла другая. Оттепели в России случались и раньше, разные и по разным поводам, а заканчивались одинаково — заморозками. Надо было торопиться, не упускать возможности опубликовать всё сохранённое и найденное к тому времени. Редактировала вторую книгу вновь Татьяна Четверикова, а составителем и автором предисловия был Геннадий.

Эти две книги — главные, остальные (а вышло их при жизни Геннадия пять) основывались на уже опубликованном материале и выполняли свою, не менее важную, функцию: расширить круг читателей и почитателей Кутилова и привлечь к его творчеству внимание критиков и литературоведов.

Сухой перечень изданий не даёт полного представления о масштабах работы, проделанной Геннадием Великосельским за два с лишним десятилетия.

Стоит отметить, что, начав с чистого листа, встречая насмешки, непонимание, а порой и высокомерное пренебрежение собратьев по перу, он ни разу даже в мыслях ни на шаг не отступил от намеченной цели: помочь талантливому поэту пробиться к людям. Выставки рисунков, творческие вечера, публикации стихов в прессе, открытие музея в селе Бражниково, где прошли детство и юность поэта, два фильма, снятые Новосибирским и Омским телевидением, ещё один музей в общеобразовательной школе, уголок Аркадия Кутилова при музее Технического университета... Всего не перечислишь. Геннадий разыскал сына Кутилова, первую учительницу, сослуживцев. Не удивительно, что на себя самого не оставалось времени. Однако он кое-что всё-таки успел: освоить новый «жанр» — составить и отредактировать книгу юной поэтессы Юлии Пророковой, и напечатать в красноярском журнале «День и ночь» повесть.

В 2002 году после инфаркта начались сложные проблемы со здоровьем. В течение шести лет Геннадий мужественно боролся со смертельным недугом, не жалуясь и не

переставая работать. 10 июля 2008 года его не стало. Последнее, что он держал в руках за несколько часов до смерти, — это буклетик с автографом Евтушенко. Евгений Александрович, посетивший в июле 2008 года Омск, дал слово друзьям Геннадия, что напишет предисловие к новой книге Аркадия Кутилова, которую собирались издать в Москве.

Евгений Александрович слово сдержал — предисловие написано. Рукопись, составленная Геннадием Великосельским, подготовлена к печати, спонсор от обязательств не отказался. Однако вмешалась «малость». Но есть надежда, что с помощью Омского министерства культуры эту «малость» удастся устранить. По крайней мере, хочется в это верить.

PS. Накануне празднования Дня города на аллее Литераторов был установлен памятный камень, на нём два имени: Кутилов и Великосельский. И это справедливо.

Остаётся пожелать всем бесшабашным, вольнодумным, не вписывающимся в общепринятые рамки талантам таких же верных, надёжных и благородных друзей, каким был Геннадий Великосельский.

Евгения Кордзахия

Homo incognito

К 70-летию Аркадия Кутилова

* * *

Он никому не был нужен. От него все хотели избавиться — слишком неудобным для властей был этот бомж, называющий себя поэтом, ведущий себя независимо и дерзко, устраивающий громкие литературные и политические скандалы, позволяющий себе говорить правду. Его объявляли сумасшедшим, прятали в психушки, а когда совсем уж надоедал, — сажали на поезд до Новосибирска или Иркутска, откуда его — тем же макаром — вновь отправляли в Омск. Семнадцать лет его «футболили» по всей Сибири, но никому и нигде он не был нужен...

Сохранилась его полушутливая расписка, данная администрации Омской психлечебницы в обмен на выписку:

«Расписка

Дана настоящая в том, что я обещаю в суточный срок покинуть пределы Омской области и не появляться здесь никогда.

В противном случае можете отстрелять меня, как одинокого волка, несмотря на то, что я уже занесён в Красную книгу охраны природы под девизом «Homo incognito».

Аркадий Кутилов»

Расписка датирована апрелем 1979 года, позади было уже одиннадцать лет бродяжничества, и ещё шесть лет такой же жизни оставалось до таинственной, так и не расследованной гибели в июне 1985 года.

Его давно уже нигде не печатали, но продолжали читать — со «слепых» перепечаток, со списков, с пожелтевших газетных вырезок... О нём ещё при жизни стали ходить легенды...

Человек неизвестный... Конечно, Аркадий вкладывал в это словосочетание совсем иной, особый смысл... Но если уж говорить об известности как таковой, то уникальное поэтическое творчество Кутилова и сегодня, спустя двадцать один год после смерти, продолжает оставаться неведомым для широкой читательской аудитории страны. Поймём ли мы когда-нибудь, что выходы кутиловских книг в местных издательствах, проведение выставок рукописей и рисунков, постановки театрализованных вечеров памяти — всё это замечательно, но слишком уж недостаточно для творческой личности такого масштаба? Понимает ли город, что его полуравнодушное отношение к одному из ярчайших российских поэтов



XX столетия совсем уже скоро начнёт вызывать недоумение у всей России?

* * *

Давно, в конце шестидесятых, на одном из собраний литературного объединения при Омской писательской организации обсуждали стихи молодого поэта. Присутствовал и Кутилов, который пришёл не послушать, а, конечно же, выпить, чем непременно заканчивалось в те времена любое обсуждение.

После буквального разгрома, обиженный слишком суровой на его взгляд критикой, молодой поэт сказал в своё оправдание, что он вовсе и не стремится писать как Пушкин.

«А вот я стремлюсь писать как Пушкин!» — громко заявил Кутилов, вызвав у одних смехи, у других — осуждающий ропот.

Из всех присутствующих тогда на этом собрании Кутилов оказался единственным, кто понимал, что без такового стремления, несмотря на его кажущуюся дерзость и святотатство, невзирая на его тщетность, — не стоит и браться за перо.

* * *

Он часто исчезал из города, порой надолго — ездил «покорять» то Новосибирское книжное издательство, то столичные журналы. Географию его путешествий можно было проследить по письмам, которые едва ли не ежедневно приходили в Омск. Иногда их было и по нескольку в день. Письма были предельно лаконичны, с обязательным приложением парочки стихов дорожно-дневникового характера или остроумно-хулиганского содержания.

Но зачастую был уж совсем предел лаконизма: в конверте с одесским штемпелем находился лишь увядший в пути лист каштана... Или клочок казанской газеты со стихами на татарском языке... или этикетка от невиданного молдавского вина... Или

квитанция из свердловского медвытрезвителя... Или засушенный образец могучего дальневосточного комара с запиской: «Представь себе: это чудовище меня укусило! До сих пор больно!».

* * *

Он был неистощим на мистификации. Мистификация и эпатаж были неотъемлемыми частями его многогранного творчества, любимыми «жанрами». И, конечно же, очень многие от этих «жанров» были далеко не в восторге...

Однажды в адрес Омского отделения Союза писателей пришла телеграмма из Иркутска: «Кутилов утонул в Байкале. Тело не найдено. Группа товарищей».

Грех говорить, что телеграмме этой кто-то обрадовался. Но выдох облегчения кое у кого всё же наблюдался: упокой, Господи, душу утопшего раба твоего. Уф!

Известие воспринималось всерьёз до тех пор, пока «тело», живое и невредимое, само не объявилось в Омске. На вопросы особо «недоумевающих» Аркадий отвечал предельно коротко: «Выплыл».

* * *

Можно сказать, что при жизни у Аркадия Кутилова совсем не было публикаций стихов в столичных изданиях. Правда, омские литераторы старшего поколения нет-нет да и вспоминают выпущенный в 1969 году издательством «Молодая гвардия» некий коллективный сборник, где стихи Кутилова всё-таки напечатали.

Да, действительно, в сборнике «Тропинка на Парнас» помещены три крохотных и совершенно очаровательных стихотворения Аркадия, однако не все знали, что факт появления их в этой книге следует всё же рассматривать не как «серьёзную» публикацию, а скорее, как одну из блестящих кутиловских фальсификаций.

А история такова...

В 1968 году Аркадий вычитал где-то информацию о готовящемся «Молодой гвардией» сборнике стихов, написанных детьми разного возраста, со всех концов СССР. Одним из составителей будущей книги значился Николай Рыленков, известный поэт, хорошо знакомый Кутилову со времён его смоленского, армейского периода жизни. Зная, что Рыленков считает его погибшим, Аркадий написал ему письмо якобы от имени своего десятилетнего сына Аркадия (самого Кутилова Рыленков знал как Адия). В письме юный (вымышленный) Аркадий вспоминал своего «погиб-

шего папку-поэта» и просил «дядю Колю» напечатать свои «первые стихи».

Стихи мэтр, конечно же, напечатал. Отчасти, «в память о покойном», отчасти, умилившись «дядей Колей», впрочем, нельзя не отдать должное и самим стихам.

В качестве первых стихов своего полувывымышленного сына Кутилов послал три ранних своих стихотворения-четверостишия: «Грузди», «Антилопу» и «Грифа». Но даже в сумме эти стихи тянули всего на двенадцать строк, и тогда Аркадий, хорошо разбирающийся в построчной оплате стихотворной продукции, произвёл гениальную «коммерческую» разбивку...

Вот так, например, выглядит в изданном сборнике стихотворение «Гриф»:

*Гриф
спесив,
как бывший
граф.
Гриф
бывалый
вор.
Где-то
кури-
цу
украв,
спесью
скрыл
позор.*

И всё правильно, и ни к чему не придерёшься, и даже распростёртость на две строки слова «курица» не только умиляет, но и подчинена строгим законам ритма.

Как ни странно, но «несерьёзная» публикация эта сыграла серьёзную роль: именно тогда, увидев свои стихи напечатанными в столичном издании, Адий Кутилов принял решение о выборе в качестве псевдонима имени Аркадий...

Гонорар мы с Аркашей «отмечали» несколько дней. Ещё бы: за одну только разрубленную надвое «кури-цу» можно было купить целую бутылку водки.

А «реальному» сыну Кутилова Олегу в ту пору был всего один год.

* * *

В литературных кругах города до сих пор вспоминают случай, когда Кутилов гениально «раскрутил» на опохмелку весь коллектив Омского книжного издательства.

Понимая, что «за просто так», а тем более на выпивку, денег ему не дадут, Аркадий, заткнув левую руку под пиджаком за пояс, заявился в издательство с пустым болтающимся рукавом. Печально поведал, что руку ему ампутировали, и теперь надо как-то добираться до родной деревни, осесть там окончательно, начинать новую, «правильную» жизнь.

По издательству забегали с шапкой. Сумма в итоге набралась довольно «достаточная», и Кутилов, пустив длинную благодарную слезу, сердечно попрощался — со всеми и «навсегда».

Через полчаса он, однако, «честно» вернулся в издательство, неся в каждой руке по авоське с портвейном.

* * *

Однажды Кутилов, и сам того не ожидая, переполошил всё партийное, кагэбэшное и милицееское руководство области.

А дело было так...

Пьяненького и дерзкого на язык Аркашу подмёл в магазине милицейский наряд и доставил его в ближайший «обезьянник» при Речном вокзале. Тамошние милиционеры старательно отлупили поэта, отобрали у него последние нетрудовые копейки и вышвырнули на свободу.

Чем уж это заурядное при его образе жизни событие так разъярило Аркадия, не совсем понятно. Накопилось, наверное, назрело и перезрело.

Едва оказавшись на улице, он шкульнул у прохожего пятак, зашёл на почту, купил конверт, и на обороте телеграфного бланка написал письмо на имя Первого секретаря Омского обкома КПСС Сергея Иосифовича Манякина.

Дело было летом, где-то в начале семидесятых... Стояли времена, когда придуманный властью моральный кодекс «учил жизни» со всех стен и заборов и возле этих же стен и заборов, этой же властью — цинично попирался. Впрочем, других времён у нас никогда и не было. Но главным оружием диссидентов брежневского времени была так называемая эксплуатация морали — метод, изобретённый польскими инакомыслящими и заключающийся в том, чтобы тыкать власть носом в её же собственное дерьмо.

Кутилов об этом оружии не только знал, но и мастерски умел им пользоваться. Изложив Манякину суть произошедшего, слегка стилизуясь под простого и наивного представителя на-

рода, Аркаша закончил письмо такими словами: «Сергей Осипыч! Если твои милиционеры будут и впредь избивать граждан, то плевать я хотел на такое «гражданство»!»

Если бы Кутилов написал нечто вроде «я буду вынужден покинуть страну» — на письмо, возможно, и не обратили бы особого внимания. Но тут был подтекст! И какой! Страшный в своей крамоле! А подтекстов, намёков и прочих аллегорий партийное руководство тех времён боялось больше, чем прямых призывов и откровенных лозунгов.

Велика сила писательского слова! Даже такое, казалось бы, панибратство, как «твои милиционеры», только подчёркивало, что и адресант, и Адресат — вместе, плечом к плечу — стоят в одном ряду «нерушимого блока партии и народа»!

Нет сомнений, что письмо это показали самому Манякину. Не посмели не показать. Иначе объяснить поднявшийся переполох просто невозможно.

...К моему дому подкатили сразу на двух автомобилях (обратным адресом своих писем Кутилов всегда указывал мой). Но приехавшие на них люди в штатском были вежливы, как инопланетяне, светились доброжелательностью и желали только одного — немедленной встречи с Аркадием Павловичем.

Поскольку Аркадий Павлович отсутствовал, меня любезно попросили показать в городе все точки его «сферы деятельности». Полдня меня катали по улицам на белой «Волге», пока, наконец, Кутилов не отыскался. Пьяненький и дерзкий на язык.

И где только обучались политесу тогдашние представители силовых структур! Покинув машины, они бросились к Аркаше, излучая крайнюю степень радости и почтения. Стороннему наблюдателю, наверное, могло бы показаться, что это представительная партийная делегация встречает высокого гостя, который, торопясь на встречу, не успел даже побриться, помыться, причесаться и протрезвиться. А уж дикая экипировка «высокого гостя» вообще не поддавалась сколько-нибудь разумному объяснению.

Аркаша моментально сообразил, что его письмо дошло до Самого Адресата, и что Сам Адресат повелел «разобраться». Решительно, словно в кабину истребителя, он сел в машину...

Сценарий поисков был продуман до мелочей: на чёрной «Волге» Кутилов был увезён в неизвестном направлении, на белой — меня доставили домой.

Вечером Аркаша вернулся. Рассказчиком он был блестящим, и мы до слёз хохотали над тем, как ему «фиксировали» следы побоев в судебно-медицинской экспертизе, как просили писать заявление за заявлением, как предъявляли для опознания шеренги перетрусивших сержантов, и как неумело извинялись перед ним в высоких кабинетах не привыкшие этого делать пузатые начальники.

Разбирательство уложилось в два-три дня, и вскоре Кутилову выдали длинную официальную бумагу с перечнем предпринятых мер против «оборотней в погонах», которую он ещё долго использовал в качестве «охранной грамоты».

До суда дело, конечно же, не дошло. Да и не могло дойти: «моя милиция меня бережёт» — в те времена было святой и не подвергающейся никаким сомнениям заповедью. Но распоряжение областного бога исполнили на все сто процентов! Да какое там «на сто» — на двести! На триста! Кто-то потерял всего лишь лычки, а кто-то — звёздочки, кто-то вообще лишился погон, а кого-то «пощадили», сослав на борьбу с сельской преступностью.

Думаю, что после этого в истории Омска был период, когда с задержанными правонарушителями обходились в милиции столь же корректно, как это показывалось в советских фильмах. Сколько это продолжалось — не знаю, но Кутилова блюстители порядка старались обходить стороной довольно долго.

* * *

Наверное, у каждого пишущего было собственное открытие Булата Окуджавы. Кто-то впервые познал его как замечательного, изящного прозаика, кто-то — как утончённого и умного поэта, кто-то — как ни на кого не похожего, «нелепого» и «неправильного», но удивительного барда. Может быть, это накладывало отпечаток и на дальнейшее восприятие его многогранного творчества.

Окуджава для Кутилова был прежде всего поэтом. Даже окуджавские песни, которые Аркадий цитировал довольно часто, звучали в его устах подчёркнуто-стихотворными текстами.

А вот как описывает Кутилов своё «открытие» Окуджавы:

«Как-то я отослал в «Юность» свои стихи, чтоб получить профессиональную рецензию. Получил ответ за подписью «Б. Окуджава». Эта фамилия вызвала во мне цепную реакцию и новые письма в «Юность»: кто ты есть, загадочная

Окуджава?! Ты стала являться в моих сновидениях, я полюбил тебя!.. И т.д.

Когда же мне письменно растолковали, что Б. Окуджава — мужик, да ещё и с усами, я чрезвычайно смутился, и сейчас страшно осторожно обращаюсь с фамилиями неведомых для меня людей».

К сожалению, нам уже не узнать, как оценил Булат Шалвович стихи молодого Кутилова, но, судя по «ответному чувству» Аркадия, оценка не содержала в себе негатива.

Почему же Булат Окуджава не напечатал стихи молодого поэта? Ну, во-первых, напечататься безвестному провинциалу в столичном издании тогда было далеко не просто. Во-вторых, литконсультант, каковым работал (или подрабатывал) тогда в журнале Окуджава, ещё не решал вопросы публикаций, а служил лишь своеобразным фильтром. В-третьих, неизвестно ещё, что за стихи посылал в «Юность» Кутилов. Из литературно-хулиганских побуждений он мог послать туда и нечто заведомо «непубликабельное». Знаю, например, что в журнал «Человек и закон» (орган МВД СССР) Аркадий отправил однажды свою «экспериментальную поэму», написанную исключительно ненормативной лексикой.

* * *

«Больше поэтов, хороших и разных!» — призывал Маяковский, и сказано это было взвешенно и продуманно. Хорошие поэты, даже разительно отличающиеся друг от друга размахом дарования, всё же равны меж собой именно этим — разностью, нинакогонепохожестью. У каждого из них есть свой ключ к душе читателя, а то, что этот ключ подходит далеко не к любой душе, — вполне естественно. «Больше поэтов» — это сказано вовсе не о том подавляющем большинстве стихотворцев, которые вообще никакого ключа не имеют и маются, бедолаги, всю жизнь с какой-то нелепой, неизвестно зачем попавшей к ним в руки ничегонеоткрывающей отмычкой...

В записных книжках Аркадия Кутилова есть такая фраза, и отнюдь не парадоксальная: «Много стихов — это плохо, но хорошо, что много стихов».

* * *

В опубликованных записных книжках известного писателя и журналиста Ярослава Голованова есть запись, почти молитва: «Господи! Сделай так, чтобы я услышал, что где-то кто-то украл у кого-

то мою книгу! Наверное, этот день будет одним из счастливейших дней моей жизни!».

Вспоминая эти удивительные слова, я вспоминаю и то, как часто за годы, прошедшие со времени выхода первой кутиловской книги «Провинциальная пристань», ко мне обращались друзья и знакомые с просьбой помочь достать эту книгу, сетуя, что она у них была, да вот кто-то «увёл».

Столь щекотливый «критерий» писательской популярности привожу неслучайно. В декабре 1998 года на презентации второй книги Кутилова «Скелет звезды» я озвучил вышеизложенное, добавив, что даже сейчас, в этом зале, — вижу людей, у которых «Провинциальную пристань» кто-то когда-то «позаимствовал». Затем, после нескольких выступлений омских литераторов, было одно, запомнившееся особенно. Молодая и талантливая поэтесса, предвзяв своё выступление, поведала залу, что и сама она смогла стать обладательницей «Провинциальной пристани», лишь «благополучно уведя» эту книгу у своих знакомых. Поведала с какой-то вызывающей честностью, с какой-то свирепой правотой средневекового воина, гордящегося своим трофеем. Так и сказала, умница: «благополучно уведя»...

...Издавать вам надо Кутилова, господина издателя, издавать и издавать! Дратесь друг с другом за право издания, «и не о выгоде думая, но о чести!». Всё равно ведь — рано или поздно — придётся это делать.

* * *

Кстати, несколькими годами ранее, в 1992-м, прямо из редакторского кабинета солидного московского издательства была украдена даже ещё не книга, а один из экземпляров рукописи уже подготовленного к изданию поэтического сборника Аркадия Кутилова «Грехи мои святые».

Редактор книги Ирина Дубровина тут же звонила в Омск и попросила срочно привезти

находящийся у меня на руках третий экземпляр рукописи: сборник должен был выйти в свет буквально через считанные месяцы.

Встретили меня в издательстве очень радушно, едва ли не как самого Кутилова. Почти неделю я работал над предисловием к книге в специально предоставленной мне для этой цели однокомнатной квартире: от первоначального плана заказать такое предисловие кому-нибудь из мэтров решили отказаться.

Многие тогда в издательстве «Русская книга» ожидали выхода кутиловского сборника с наименьшим нетерпением, чем я. «Это будет бомба! — повторяли мне в разных кабинетах. — Это будет такая бомба!»

«Бомбой» на издательском сленге называется книга, производящая своим выходом сенсацию. Уже в начале 1993 года поэтический мир Москвы, — а это значит и всей страны, — мог взорваться появлением нового имени.

Однако Кутилов не был бы Кутиловым, если бы всё у него шло ровно и гладко — что при жизни, что после неё. В 1993 году издательство покинул его директор, а вслед за ним и все заинтересованные в выходе книги. А затем грянула всеобщая коммерциализация, и для издания книги уже понадобилась «спонсорская помощь» в сумме с таким жутким количеством «неденоминированных» нулей, что будь их даже и меньше — легче от этого не стало бы.

«Бомба» — тогда, в 93-м, — так и не взорвалась. Но я уверен, что до сих пор ходит по Москве один-единственный экземпляр поэтического сборника «Грехи мои святые» — тот самый, еще в рукописи украденный из редакторского кабинета. И стихи Аркадия Кутилова заучивают наизусть, переписывают в тетрадки, передают из рук в руки — всё, как и сорок лет назад. И как все эти сорок лет...

Кому из поэтов не пожелаешь такой судьбы?!
И кому пожелаешь такой судьбы?..

Олег Клишин

Возвращение памяти

К 80-летию Геннадия Шмакова
(24.09.1930 – 03.09.2002)

1

*Перекликаясь с теми, кто прошёл...
Николай Рубцов*

По аналогии с физической теорией единого поля можно предположить, что существует единое поэтическое пространство, в котором однажды написанное стихотворение оказывается постоянно существующим событием, взаимосвязанным с множеством других тысячами разнообразных нитей. Причём взаимосвязь эта присутствует вне зависимости от времени и места и проявляется порой самым неожиданным образом, иногда труднообъяснимым, загадочным, но от этого не менее убедительным.

*О чём шумят
Друзья мои поэты
В неугомонном доме допоздна?
Я слышу спор.
И вижу силуэты
На смутном фоне позднего окна.*

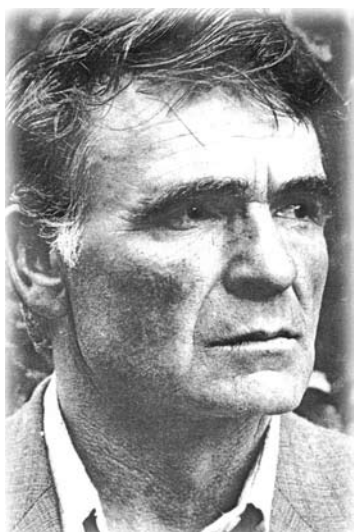
Почему, прочитав именно эти строки Н. Рубцова, сразу вспомнил о другом поэте, о своём земляке Геннадии Шмакове? Механизм человеческой памяти непредсказуем. Никаких текстовых аллюзий, реминисценций (это уже по-года, восстанавливая процесс, задним умом соображая) в данном случае усмотреть невозможно. Но без сомнения, есть что-то иное существенное — какой-то психологический момент, нюанс, благодаря которому с такой непререкаемой определенностью высветилось это имя. Странно сказать, но этот момент можно обозначить словом — «отсутствие».

Легко представить: зимний вечер, освещённые окна омского писательского дома (когда-то был такой), оживлённый театр теней на фоне... Но, сколько ни всматривайся, невозможно разглядеть среди движущихся теней характерный силуэт Геннадия Шмакова. И не потому, что его уже какое-то время нет среди нас, не потому, что он был старше многих и редко присутствовал на писательских посиделках после очередной презентации или собрания. Скорее всего, причина в том, что его вообще невозможно представить шумящим, что-то ожесточённо доказывающим. Его голос нельзя услышать в жарком споре, в общем хоре. Зато как подошла бы ему примиряющая, приправленная лёгкой иронией, интонация: «Шумим, братцы, шумим!». И всё то же стихотворение вполне может быть продолжено этим же голосом:

*Уже их мысли
Силой налились!
С чего начнут?
Какое слово скажут?
Они кричат,
Они руками машут,
Они как будто только родились!*

Одно из самых удивительных и необходимых свойств настоящих стихов — способность обновляться. Да, казалось бы, то же количество, тот же порядок слов, те же рифмы, но всякий раз стихотворение прочитывается по-разному — в разное время, в ином настроении, другим человеком. И всякий раз возникает что-то новое; ранее не замеченное — какой-то оттенок чувства, какая-то деталь, мысль, образ. Как же раньше не замечал? А раньше этого просто не было, не было в тебе, в твоей душе, в твоём жизненном опыте, а значит, и не могло существовать в прочитанном стихотворении. Но в какой-то момент... Так получилось, что стихи молодого и рано ушедшего из жизни

КЛИШИН Олег Николаевич родился в 1960 году. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Автор двух поэтических книг: «Выход» (2000), «Круговая порука» (2007). Член Союза писателей России.



Н. Рубцова очень точно передают состояние умудрённого жизнью человека. Человека, знающего о том, что кричать, махать руками, сотрясать воздух — это всё подростковые забавы, не имеющие никакого отношения к серьёзному делу, в том числе к тому, которое принято именовать поэтическим трудом.

«Они как будто только родились» — здесь нет пренебрежительного снисхождения, но чувствуется лёгкая грусть и недоумение по поводу того, что «друзья поэты» с таким жаром отдаются пустопорожнему, в общем-то, времяпрепровождению вместо того, чтобы добросовестно, в меру отпущенных сил исполнять главное «поручение», о котором упомянуто в этом же стихотворении: *«Пусть не шумят, / А пусть поют поэты / Во все свои земные голоса!»*.

Земной голос. Да, поэтический голос Геннадия Шмакова один из самых земных, природных. Можно было бы сказать — таёжных, если б это определение не звучало слишком «дико», с одной стороны, а с другой, наоборот, не было отлакировано, как гитарный гриф в руках бардов — романтиков, мечтателей, едущих в тайгу за туманом и за запахом. Уважая их бескорыстные мечты, всё же заметим, что дружные их песни возле уютного костра — это песни туристов, приехавших полюбопытствовать, глотнуть крутого смолистого настоя, хлебнуть романтики. Действительно, для обычного городского жителя Сибирский Север едва ли не более экзотичен, чем африканская саванна или мексиканские прерии. Конечно, в этих мечтах, где «глушь, заболоченный урман», где след медведя или лося можно встретить чаще, чем человеческий, где «поёт зима», «поют метели», в этих краях народный фольклор гораздо уместнее, чем походный задор или эстрадное действо:

*Где всё орёт и плачет,
Где зарубежный голубок
И где Леонтьев скачет
В колготках, машет головой,
Ломается и корчится...
Культура тоже, боже мой!
Кузьма плюёт и морщится. (Г.Ш.)*

Хотя выступление поп-звезды имеет явное сходство с шаманским камланием, но как далеки эти пляски от природной стихии, от её первозданной красоты и гармонии, не допускающей уродства и абсурда. Здесь автор, без сомнения, разделяет чувства Кузьмы.

Дело в том, что все эти крайности и странности, близкие к пограничным состояниям рассудка, и в жизни, и в искусстве глубоко чужды внутреннему ощущению Геннадия Шмакова и, как следствие, его поэтическому миру. Главное — совсем другое, совсем иная интонация, которую легко расслышать хотя бы в этих перекликающихся стихах:

*Пологом покрытый грузовик
По просёлку весело укатит.
Вслед ему гусиный переклик
Проплывёт в рябиновом закате.
Входит в поле ночь... И тишина,
Тишина на речке, на пароме...
Греется холодная луна
В тёплой позолоченной соломе. (Г.Ш.)*

Как тут не вспомнить дорогу, ещё не укатанную машинами:

*О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью у порога
Жуёт пахучий мякиш тишины. (С.Е.)*

Или другую, проходящую северо-восточнее, на которой гужевой транспорт уже потеснён автомобильным:

*Тележный скрип, грузовики,
Река, цветы и запах скотский,
Ещё бы церковь у реки,
И было б всё по-вологодски. (Н.Р.)*

«Сибирь, как будто не Сибирь!» — первая строка этого же стихотворения географически ещё больше сближает. А обратившись к «Детству», встречаем всё тот же родной пейзаж, знакомые звуки среди тишины: *«Я смутно помню позднюю реку, огни на ней и скрип, и плеск парома...» (Н.Р.)*.

Но дело даже не во внешних приметах, а в том, что для каждого из этих поэтов независимо от масштаба, калибра (параметры — не главное): *«Здесь до слёз дорогие места» (Г.Ш.)*, здесь *«Край ты мой забытый, край ты мой родной» (С.Е.)*, *«Тихая моя родина» (Н.Р.)*, *«Мой тихий уголок, затерянный в России» (Г.Ш.)*,

«И вот пою про уголок Руси» (Н.Р. «В сибирской деревне»).

Нет необходимости доказывать очевидное. Единым чувством продиктованы эти и многие другие строки. Только оно способно освободить притяжательные местоимения (мой, моя) от малейшего оттенка корысти и придать ему самый возвышенный смысл. В яростных дискуссиях это чувство не рождается. В бардовских песнях? — вряд ли. На эстраде — невысказано. Любовь к Родине живёт в сердце человека, в сокровенном молчании, в неустанном сопереживании, сострадании, в «песнях поэта», то есть в лучших стихах, о которых узнаёшь порой совершенно случайно, оставшись наедине с книгой.

2

*Я иному покорился царству...
Сергей Есенин*

Именно этой строкой можно определить то чувство, которое возникает при чтении многих стихов Геннадия Шмакова. Особый мир, в котором главными действующими лицами, его лирическими героями являются наши меньшие братья. Хотя почему «меньшие»? Если судить по библейской хронологии, то все «звери земные» появились на день раньше человека. А, учитывая насыщенность первых дней творения, можно предположить, что эта разница во времени была довольно существенной. Не потому ли иногда случается, что мудрый звериный инстинкт помогает и спасает там, где человеческий разум оказывается бессильным?

Поэт чувствует эту мудрость живой природы. Его отношение к ней — это не любознательность натуралиста, не азарт естествоиспытателя, а трепетное внимание ученика, терпеливо постигающего уроки жизни, или благоговение верующего, входящего в храм, в «святую обитель природы» (Н.Р.). Кажется, не столько слова, сколько интонация передаёт это взволнованное состояние, когда ты вступаешь в это диковинное царство:

*Здесь за причудливыми пнями
Трясину скрыл коварный мох.
Глухарь с кровавыми бровями
Весной от пения оглох.
Медведь теплом уже разбужен,
Из бурелома встал, худой,
И пьёт он из болотной лужи
Душистый клюквенный настой.
А я, вдыхая запах хвои,*

*Бреду сквозь утренний туман
В твои безбрежные покои,
Седой и сказочный урман...*

«Там на неведомых дорожках / Следы невиданных зверей. / Избушка там...» — в подсознании любого читателя, для которого русский язык — родной, мгновенно включается механизм узнавания. Что ещё больше сближает. Так бывает, когда случайно услышанная мелодия внезапно напомнит звуки колыбельной, под которую в детстве так сладко засыпал.

Медведь, лось, глухарь, волк, заяц, лисица, рысь, соболь, куница, горностаи, олени, косули, куропатки, сороки и пр. — всех не перечислить. Автору повезло — он бывал, он жил в этих заповедных местах, видел всех жителей сказочного царства. Много ли времени прошло? Увы, для большинства из нас эти звери так и останутся «невиданными», по крайней мере, в естественных условиях, в своём родном доме. В «лучшем» случае сможем их увидеть в качестве подневольных обитателей зоопарка или узников зверинца.

Важно и другое... Не «покорил», а «покорился»(!) — одним словом ставится под сомнение самодовольное представление человека о человеке, как о венце творения. Вспомним знаменитое мичуринское выражение, взятое на вооружение официальной идеологией: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача». «Взять милости», — звучит странно и страшно, напоминает лексикон насильника. Но никого это не смущало. И брали, и покоряли, и, завоёвывая, уничтожали, невзирая на то, что насильно мил не будешь. Хотя, почему в прошедшем времени? Всё продолжается в том же духе. Примеры приводить излишне. Воистину: слишком уж болезненны шипы этого тернового «венца» для всей живой природы.

Признаться, человек с ружьём, как «любитель природы», всегда внушал недоверие. И до сей поры... Правда, бывают исключения... счастливые сочетания, когда в охоте становится главным не процесс добычи, а совсем другое: «Охота стала истинным родником моего литературно-художественного мастерства», — писал Пришвин в своём дневнике. А на упреки в том, что в его писательстве «нет человека», отвечал: «...я нашёл для себя любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные стороны души человека. Так я и понимаю природу, как зеркало души человека: и зверю, и птице, и траве, и облаку только человек даёт свой образ и смысл».

О том же в стихах Геннадия Шмакова. Он каждого лесного обитателя знает в «лицо», несколькими точными штрихами передаёт характер, повадку, рисует неповторимый образ. Здесь и «старик-сохатый», и медведь «бандюга-шатун», и «глухарь с кровавыми бровями», и даже «пень в седой кухлянке», напоминающий сказочного гнома. Или вот моментальный «снимок» охотничьего эпизода, где мы, словно воочию, видим разгневанного хозяина тайги:

*Матёрый, быстрый, как снаряд:
Открыта пасть, прижаты уши,
Да злым огнём глаза горят.
Он рёвом лай собачий глушит.*

А вот те «верные друзья», что всегда рядом и в трудную минуту всегда придут на помощь: «Пара лаек, словно калачи, / У дверей бревенчатой избышки». И вот они же, что называется, в деле: «Загрели по соболю лайки». Здесь же недалеко другой помощник: «конь буланный / губами ловит сочную траву». «Лицо коня» — прекрасное стихотворение Н. Заболоцкого предложит бы вспомнить читателю..

Способность видеть и различать лица животных и растений, чувствовать душу природы, а значит, сочувствовать всему живому, присуща очень немногим. Отсюда и не совсем типичные признания для охотника: «Стрелять пора. Я запинаясь, вверх дуплечу», «Я не троплю его...», «Лось подойдёт и встанет рядом, / Я не спугну его зарядом, / А только веткой шевельну». Даже волки, испокон внушающие человеку страх и ненависть, устаиваются сочувственного слова. Поэт понимает, что без этого хищного зверя невозможно представить родную землю, её историю, сказки, предания, а потому: «Я в звериной мелодии слышу, / Даже вижу далёкую Русь». И слушая этот жуткий хор, сожалеет, что эти серые разбойники когда-нибудь «в былое уйдут».

*Что простор показался им тесен?
Тяжело им разбоя простить.
Но оставим зверей ради песен,
Пусть живут у меня на Руси.*

Всё то же местоимение *первого лица* — «у меня». Но опять же: никаких наполеоновских амбиций, никаких территориально-имущественных претензий здесь нет. Здесь гораздо большее — ответственность человека за дом, где он родился и вырос, за всё, что в этом доме происходит, ответственность за тех, кто живёт рядом.

Охота — распространённое мужское занятие. И вот здесь, в этом узкоспециализированном вопросе, любопытно сопоставить поэта, а в сущности самого простого, живущего на земле человека, с тем, кто волей судьбы оказался облечён высшей властью, в чьих руках оказалось право казнить и миловать, и не только зверей.

Последний российский император в анкете для переписи населения в графе «род занятий» твёрдой рукой написал: «Хозяин земли русской». Казалось бы, кому, как не хозяину сознавать всю полноту ответственности за своих подданных, за всё, что творится на «земле русской». Не будем повторять общеизвестные характеристики последнего русского царя, как главы государства, как политического деятеля. Итоги его правления красноречивы — крах трёхсотлетней династии, революция. Зато прекрасный семьянин и с виду добрый человек. И ничто человеческое... Отсюда и довольно обычное увлечение — охота.

Но вот что-то, мягко говоря, смущает после знакомства с педантичными отчётами царских егерей (или кто там фиксировал всю эту дичь?). Ладно, традиционные охотничьи трофеи — медведи, олени, волки и пр. Но вот «Отчёт об императорской охоте» за 1902 год, где в графе «всего убито» среди прочего числится: КОШЕК — 1322 (?!). Даже, не касаясь этической стороны, нормальному человеку трудно вообразить подобное количество. Это ведь примерно по 3,5 кошки ежедневно, включая выходные и праздники, надо было умерщвлять! И где он столько кошек брал? Или специально отлавливали? И время! Да, вот у кого надо было опыт перенимать специалисту по очистке, гражданину Полиграфу Полиграфовичу. Но по сравнению с самодержавным живодёром Шариков — просто щенок. Он бы просто ужаснулся, заглянув в следующую графу этого убийственного отчёта, в которой чёрным по белому зафиксировано: Бродячих собак — 899. Но и, конечно, больше всего не повезло воронам. Их царь «щёлкал», просто как семечки, отдыхая на прогулке от важных государственных дел. Хотя, если судить по его дневниковым записям, то считать... то есть стрелять ворон и кошек было занятием не менее важным, чем приём высших чиновников государства. Вот лишь несколько выписок: 1905 г. 8-го мая. Воскресенье. «В 11 час. поехали к обеде и завтра [кали] со всеми. Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова», 28 мая 1905 г. «ездил на велосипеде и убил 2 ворон»; 2 февраля 1906 г. «гулял и убил ворону»; 8 февраля 1906 г. «гулял долго и убил две вороны». Итого — историки не поленились, подсчита-

ли — только за 6 лет государь убил 3786 бродячих собак, 6176 кошек, 20547 ворон. Окончательный «итог» правления царя-истребителя бродячей и пернатой фауны ещё, видимо, предстоит подвести.

Из этих записей и отчётов возникает образ эдакого венценосного недоросля, Митрофанушки на троне, который вместо того, чтобы вникать в государственные дела, решать проблемы страны, ходил и с тупой методичностью отстреливал собак и ворон, а в перерывах между этими прогулками (так уж и быть — делал одолжение) принимал министров, подписывал какие-то бумаги. В общем, правил в меру своих сил и способностей, которые, кстати сказать, и по свидетельству современников, знавших царя, были весьма ограниченными.

Конечно, никто не сможет доказать прямую взаимосвязь между этими умопомрачительными цифрами и известными историческими событиями, такими как Ходынка, Цусима, Кровавое воскресенье, Октябрьская революция (или переворот — кому как нравится) и, наконец, роковой финал в подвале Ипатьевского дома. Но думается, что взаимосвязь эта существует в соответствии с библейским: каждому по делам его... К счастью, среди единомышленников в этом вопросе можно найти много известных людей, чьё слово остаётся значимым надолго, в отличие от земных правителей, чей авторитет по обыкновению лопаётся, как мыльный пузырь, после их ухода на заслуженный отдых или в небытие, в чём нет никакой принципиальной разницы.

Все не без греха. Но кому-то дано осознать и остановиться. Известно, что Лев Толстой, заядлый с молодости охотник, впоследствии отказался от этого занятия, посчитав, что заповедь «не убий» относится ко всему живому, а не только запрещает убивать человека. За свои «крамольные» мысли великий писатель был предан анафеме и отлучён от церкви. Зато горе-правитель, гроза кошек и ворон был той же церковью объявлен христианским мучеником и причислен к лику святых.

Но вот ещё одно «доказательство» упомянутой взаимосвязи, сделанное человеком далеко не святым: «Мне представляется так, что по какому-то большому закону живое нельзя убивать и, если мы убиваем, то за это когда-то придётся расплачиваться», — писал Пришвин, который, в конце концов, тоже смирил свою охотничью страсть, сменив ружьё на фотоаппарат. Это несколько не помешало общению с природой, а скорее наоборот. По-прежнему каждая прогулка в лесу доставляла

огромную радость и способствовала подъёму творческих сил: «Уж очень тут хорошо думается и чувство рождается такой силы, что в каждой зверушке свою родню узнаёшь». Какое тут ружьё, когда родня! Когда: мы с тобой одной крови, на одной земле, под общим небом... Из такого чувства, в такие моменты и рождается поэзия.

Подо льдом клокочет речка, Воду в ней беру на чай.

*А на кочке, словно свечка,
Встал на лапки горностаей.*

*Любопытная зверушка
Пялит бусинки-глаза...*

.....

*Я к воде — сидит на кочке,
Подружились как-никак.*

С той поры я на цепочки

Стал пристёгивать собак. (Г.Ш.)

Ещё один живой портрет лесного обитателя, ещё одна история с нетипичным поведением охотника: о ружье ни слова, зато «стал пристёгивать собак», чтобы, не дай бог, не обидели «зверушку». А если представить на месте поэта того же царя? Не было бы никакой истории. Какая дружба! Пальнул бы, не задумываясь. Мантия из горностаев — один из символов царской власти. Сколько зверьков на одну пойдёт? Горностаев, правда, в том отчёте о царской охоте не значится, но вот их бедных родственников — хорьков аж 263 штуки укошено. Поменьше, конечно, чем кошек и ворон, — как-никак дикая зверушка — но на меховые манти для царицы и дочерей, наверно, хватило.

Понятно, что настоящий охотник не носит ружьё в качестве бутафорского украшения. Тем более в тайге. Иногда приходится и применять. Но дело в том, что его охота никогда не превращается в бессмысленную бойню. Зачастую мощь и ловкость грозного зверя уравнивают шансы. И тогда, того и гляди, заламает топтыгин своего нерасторопного противника:

Вот рядом он. Стрелять пора.

Я запинаясь, вверх дуплечу,

И тёмно-бурая гора

Сдавила мне до боли плечи.

...Спасибо лайкам: уцелел. (Г.Ш.)

Действительно — спасибо, а ведь могло случиться и по-другому. Любой бывалый охотник может поведать историю, которая закончилась не так удачно для его коллеги. Но самое удивитель-

ное, что ни один из этих трагических случаев не станет уроком, после которого охотник скажет: баста, теперь с охотой завязал. Древний инстинкт заставляет искать новой встречи, выходить на очередной поединок: *«Ашатун? Что ж, поживём — увидим, / Это неизвестно: кто — кого».*

К сожалению, эта «неизвестность» давно в прошлом. И животным, даже самым сильным, не остаётся ни одного шанса. Художник, поэт — это человек, кроме всего прочего, наделённый благодатью сочувствия, «избытком чувства совести» (Пришвин), а потому острее других реагирует на чужую боль, тем более, если волей или неволей он её причинил, стал соучастником или просто свидетелем обычного, в общем-то, случая:

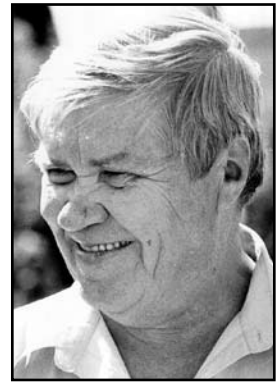
*В этой деревне, в тепле заночую.
Но не уснуть мне, душою я чую.
Будет мне видеться, но не во сне —
Этот подранок в студёной волне. (Г.Ш.)*

Чехов, не будучи заядлым охотником, однажды стал соучастником похожего эпизода. И вот как он рассказал об этом: *«У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдинепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие чёрные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головой по луже...». Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдинепа продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюблённым созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать».* (Из письма к Суворину. 08.04.1892. Мелихово.)

«Память моя» — так называется одна из книг Геннадия Шмакова, единственная, которая оказалась у меня. По-особенному звучит назва-

ние, когда знаешь, что автора уже нет среди нас. 5 мая 2000 года значится под короткой дарственной надписью. Быть может, то была последняя встреча: случайно пересеклись в здании, где тогда располагалась писательская организация. Не было никакого запланированного мероприятия — зашли каждый по своим делам, наверное, не очень важным, потому что, не торопясь, вышли и какое-то время разговаривали. Стояли под весенними клёнами, ещё не дающими основательной тени, но чьи ветки уже подёрнулись зеленоватой полупрозрачной дымкой молодой листвы. Синеватый дымок от сигареты, плавно поднимаясь, растворялся в воздухе. Геннадий Тимофеевич курил, характерно прищуриваясь то ли от дыма, то ли от солнечного света. Нет, ни своих, ни чужих стихов друг другу не читали. Скорей всего не было вообще разговора о поэзии. Теперь и не вспомнить о чём шла речь. Может быть, обратили внимание на символично облупившуюся табличку, на которой с большим трудом угадывался адрес, на «обглоданные» кирпичные стены писательского дома, чей вид резко контрастировал с «сахарным» теремком какой-то коммерческой конторы, где всего несколько лет тому назад располагалось Омское книжное издательство, выпустившее (вот горькая ирония судьбы) уже упомянутую книгу. С Геннадием Шмаковым мы не были друзьями. Даже приятелями не назовёшь. Но бывает так, что и одна мимолётная встреча оставляет долгий след. Буквально сразу начинаешь испытывать неосознанную симпатию к человеку, как будто и впрямь какой-то инстинкт срабатывает — распознаёшь своего...

Когда-то Пауль Целан сравнил стихотворение с рукопожатием. Закрывая перечитанную книгу, я вспомнил рукопожатие Геннадия Шмакова — крепкое, но как бы щадящее, поскольку чувствовалось, что эта мужская рука с монолитом квадратной ладони, привыкшая к физической работе, может сдавить так, что... Но ни малейшего опасения. Наоборот, ощущение надёжности и спокойствия передавалось сразу же. И оно сохранилось, как часть меня, моей... нашей памяти, которая остаётся, если мы не потеряли способности к её возвращению.



«Затушив прошедшей жизни пламя...»

Владимир Макаров
(09.09.1938 – 22.07.2010)

Слово прощания

Остановилось сердце большого русского поэта – Владимира Александровича Макарова. Моего друга, старшего товарища, Учителя...

Невыносимо тяжело... Чувствуешь, как не хватает дыхания от одной только мысли: неужели мы никогда больше не встретимся, не созвонимся?.. Вот как совсем недавно, поздним вечером уже: «Юра, у меня к тебе один вопрос, только ответь прямо, не жалея меня: «Скажи, не иссяк ли я как поэт?...».

Поначалу, обескураженный, я какие-то мгновения молчал... Тысячи стихотворцев в стране тискают свои книжонки и разве задумываются об этом? Омск – не исключение, ежели на два творческих союза едва ли три-четыре настоящих поэта сыщется... Макаров среди этих трёх-четырёх – первый. Поэт всероссийского звучания. И такой вопрос.

Но сам вопрос – уже ответ. Его мог задать только Поэт. Бездари не сомневаются.

...За день до смерти он ездил на Северное кладбище, хотя в последнее время вообще редко выходил из дома. Вернулся с чувством спокойной печали в сердце: наконец-то, мол, поставил на могиле жены памятник –

такой, какой хотел... Чуть более года назад умерла его голубушка, свет его Людмила, без которой, как я сейчас понимаю, просто не смог жить... Да, за этот год много стихов было написано, столь любимых читателями «Бумажных корабликов» – коротких заметок-размышлений... Но видно было, что не знает он, как жить ему дальше, что его держит на Земле...

В мае 2010 года обратился ко мне главный редактор «Российского писателя» Николай Иванович Дорошенко: попроси, мол, ответить на вопросы нашей анкеты замечательного русского поэта Владимира Макарова. Там несколько вопросов, и на них регулярно для сайта этого издания Союза писателей России отвечают лучшие поэты и прозаики страны...

Макаров ответил, да вот только не успел я перевести его размышления в «электронный вид», чтобы они были размещены на сайте при жизни поэта. Впрочем, сам Владимир Александрович Интернетом не пользовался, а то, о чём он думал, его друзья, коллеги, братья по ремеслу и все любители русской словесности смогут узнать сейчас...

А Владимир Макаров теперь пополнит небесное воинство Русских Поэтов...

Юрий Перминов

Владимир Макаров: «Следовать великой Простоте...»

1. «Российский писатель»: Ваше самоощущение в современном обществе?

Владимир Макаров: Вся моя жизнь, все прошедшие десятилетия прошли под знаком, под звездой коллективности, взаимопомощи, взаимопонимания, при ощущении общих радостей и общих огорчений.

Так было в далёкие школьные годы, когда нас всем классом отправляли в ближний колхоз на уборку, скажем, того же турнепса. Уже начиналось предзимье, летали снежинки, и при первых минусах погоды мы добывали из нашей родной сибирской земли добрые, могучие, порой винтообразные плоды того самого турнепса, который складывали вначале в бурты, а потом переносили на подъехавшую на поле автомашину. И рядом, плечом к плечу, трудились парни-одноклассники, многие из которых были моими друзьями, и вместе с нами работали одноклассницы, и была, конечно, среди них одна, особая девочка — русоволосая, кареглазая, в незабытом мною до сих пор платьице и резиновых сапожках. Взгляд этой девочки обжигал меня, возвышал и радовал до самых потаённых глубин моего юного существа. Так было и в студенческие годы, а я учился в медицинском институте, где лишь общими усилиями всей родной группы удавалось нам постичь таинства и сложности медицинских наук и стать всем детскими врачами.

Это святое чувство людей ощущал я и в своих литературных делах, когда, к примеру, услышал ободряющие, мудрые слова руководителя нашего семинара на 5-м Всесоюзном совещании молодых литераторов Владимира Алексеевича Солоухина, послушать которого приходили поэты из практически всех семинаров и сердечно поздравляли меня, когда Солоухин сказал, что рекомендует меня в Союз писателей СССР.

И вот сегодня часто приходят на ум слова гениального Гоголя о том, что «нет уз святее товарищества». И его, это товарищество, всеми мыслимыми и немислимыми путями приходится нынче удерживать, сохранять. Мне лично без товарищей по литературному цеху и горько, и тошно, и невмоготу. Вот и хочется противостоять всепроникающей идее современного нашего строя, который долбит и долбит людям всех возрастов, что «человек человеку волк».

2. «Р.П.»: Вам как писателю в первую очередь хочется высказаться или — создать произ-

ведение искусства (хотя, вроде бы, важно и то, и другое)?

В.М.: Предпоследнюю «по времени выхода» свою книжку стихов я назвал просто, непритязательно (на мой взгляд), именно так, как мне хотелось — при выборе названия из двух десятков — «Доброта».

Название это для меня не случайно. И, отвечая на второй вопрос анкеты, я снова могу повторить это название своей книжки — мне хотелось своими строчками расшевелить, растормошить, закрепить те участки коры головного мозга (а они существуют — здесь я свидетельствую как врач), которые отвечают за эту самую доброту людскую. Конечно, много чего из человеческих качеств требуется нам, человекам, в обыденной жизни, но и та самая доброта — отнюдь не последнее свойство души и существа людского... Вот об этом мне и хотелось сказать своими строчками, а получилось ли из этих моих усилий произведение искусства — судить не мне.

3. «Р.П.»: Свыше получает, читателю передаёт — таким было всегда представление о писателе. Насколько утратил сегодня писатель своё сакральное значение? Нет ли у вас ощущения, что современный литературный процесс уже не является своего рода общегражданским форумом? Какова перспектива у коммерческой литературы, доверившейся ощущению, что «Бог умер» даже не в религиозном, а в общепублицистском значении этого нищезанского образа современного мира?

В.М.: Моя врачебная профессия, которую я избрал в юности и служил здоровью ребёнка до выхода на пенсию, всё время подсказывает мне и поведение в литературных испытаниях и попытках.

Я всегда помнил и помню сейчас слова одного из наших крупных современных педиатров — профессора А.Г. Румянцева: «Почему я стал педиатром? Потому, что, когда выздоравливает лечившийся у меня ребёнок, я спасаю всю его жизнь». Своими книжками, книжками своих друзей-поэтов я и хочу привлечь внимание читающих людей (особенно молодого возраста), чтобы разбудить в них подлинно человеческие качества, укрепить стремление души, — вот эта задача, а не позорные, ничёмные мечтания о будущей славе литератора во-

дит моей рукой, когда я вывожу строчки нового стихотворения.

Знаю доподлинно, что примерно так же думают, так же строят своё творческое поведение некоторые мои друзья-поэты и в Омске, и в других городах родной Сибири. А все мы вместе противостояли и будем противостоять так называемой коммерческой «литературе», о которой и грешно, и смешно говорить, как о серьёзном литературном труде, как о писательской профессии.

4. «Р.П.»: У нас теперь появились «фабрики звёзд», в том числе, в литературе, и, скажем так, талант перестал быть главным компонентом на пути к славе. Мечтаете ли вы, противостоящий медийным фабрикам кустарь-одиночка, о славе? Или все-таки — «нас мало избранных»?

В.М.: Слово «слава» совсем не чуждо мне как работнику над стихотворениями. Но я связываю его, это громкое, грозное, зазывающее слово только с будущим временем — если по прошествии энного количества лет люди вспоминают имя и строчки какого-либо поэта, и эти строчки им нужны, им помогают в их деле, — вот это будет высшей наградой для жившего до них, и страдавшего, и радовавшегося сходными с их бедами и радостями.

Эти воспоминания, эта образная, художественная память потомков будет похожа на подлинную славу поэта — прочие попытки, и главная из них — быть притчей на устах у многих сию секунду, сей час — суть пустая затея, которая может рухнуть, как карточный домик, сегодня же или через короткий срок, и принесёт только обиду, горечь и даже желание расстаться немедленно с этим миром и его обитателями, как бы в некую отместку...

Время проходящее, интерес или даже любовь новых поколений к жившим и творившим до них — вот единственный и надёжный путь оказаться в сонме «избранных».

5. «Р.П.»: Каковы ваша самая горячая мысль и ваше самое тревожное обращение к современному читателю?

В.М.: При ответе на этот вопрос я совершенно не боюсь давнишней истины о том, что простота хуже воровства. Есть великая Простота, которую не скрыть никакими словесными ухищрениями и новейшей языковой терминологией, — она, эта Простота, преодолет любые границы и будет главной идеей и красной нитью в стихах любого думающего, чувствующего своей душой и сердцем поэта, любящего своих современников и представляющего людей грядущих времён.

Честный труд, взаимопонимание трудящихся людей, взаимовыручка, рождающая в труде добрые чувства к окружающим людям, даже светлая любовь к избранной — вот те слагаемые великой Простоты, которая удержит мир от гибели, от дьявольских соблазнов, число которых катастрофически увеличивается. Так пусть же и тревога присутствует в стихах, которая только усилит и ускорит понимание, желание наших соплеменников следовать великой Простоте существования людского — она и только она не даёт нам вконец оскотиниться, она и только она поможет нам остаться людьми.

6. «Р.П.»: Мы живём в новом тысячелетии, после многих революций и связанных с ними катастроф, после двух коренных ломок общественного строя, причём вторая предполагает полный отказ от христианских норм жизни, а, следовательно, коренным образом меняет наш национальный менталитет. Возможна ли в современной литературе связь с литературой прошлых эпох? Какие книги из прошлого, включая XX век, могут быть актуальны сегодня и почему?

В.М.: Я абсолютно согласен, что две коренные ломки общественного строя, причём в неизмеримо большей степени вторая ломка, так называемая «катастрофка», если вспомнить термин великого русского философа А.А. Зиновьева, потревожили, взбудоражили, а то и вздыбили наше самосознание, наш национальный менталитет.

Эта «катастрофка» в значительной степени и повинна в том, что современный литературный процесс в серьёзной степени утратил роль общественного организма. Но, слава Богу, всё-таки только отчасти, поскольку постоянно (пусть и не таким мощным потоком, как нам бы хотелось) появляются повести и романы, стихи и публицистика В. Распутина, Ст. Куняева, В. Бондаренко, Е. Семичева и других.

Поэтому в немалой части нашего сегодняшнего народа сохраняется тот самый «русский дух», верность родной земле и всему сущему на ней. И это особенно видно нам, живущим в глубинке, вдалеке от столиц — многошумных, аккумулирующих на себе всероссийское богатство, разбавленных немалой долей людей, по меньшей мере равнодушно или даже с презрением относящихся к нашим обычаям, нашей истории, в конце концов, к тому самому «русскому духу».

Если же вспомнить только что прошедший век, то с нами остаются, нам помогают сохранить тот самый национальный менталитет великие творения Шолохова, Твардовского, Леонова, Платонова, Рубцова и других.

«Надо жить до последнего дня...»

Совсем недавно это было: жаркий июльский полдень, звонок в дверь — почта, заказная бандероль. В левом верхнем углу конверта, как обещание доброй встречи, знакомый почерк — уверенный, надёжный, не поддающийся возрасту: «От Макарова Владимира Александровича». Как хорошо-то, как здорово!

В конверте — письмо и книга. Письмо родственно-тёплое, грустноватое, но дружески-участливое.

А книга...

Лаконично и ёмко оформленная, точно и тонко выстроенная (художник Светлана Гончаренко, редактор Юрий Перминов), она не стремится поразить, а будто бы приглашает идти вместе с автором.

Идти куда?

Обложка навевает образ белого зимнего поля, за которым, на первый взгляд, только размыто-тёмное пятно дальнего леса, клонимые ветром ли, вьюгой ли озябшие редкие ветви. И только потом, когда глаза попривыкнут, вберут в себя этот извечный, неотменимо-русский пейзаж-символ, замечаешь: там, за клонящимися голыми ветвями — созвездия. Они стоят в бездонно-тёмном небе, — тугие, крупные, наполненные живым сочащимся светом. И уже не страшно, не горько идти этим, казалось бы, совершенно безысходным русским путём. Потому что лежит он — «Под панорамой созвездий ночных».

Книга состоит (как говорил мне знакомый литературовед — по классическим канонам) из трёх разделов: «Переплели мы с тобой наши руки...», «Свет» и «Вечная музыка любви...». Ни в самих названиях, ни в последовательности разделов ничего случайного нет.

Стихи, собранные в первом разделе, читать просто физически трудно — не хватает дыхания.

*Переплели мы с тобой наши руки,
Молча стояли в закатной поре —
Перед видением вечной разлуки,
Под облепихой, на дачном дворе.*

*Ты мои руки губами согрела,
Я твои руки губами согрел.
Наша вечерняя радость сгорела,
Словно вечерний костёр догорел.*

*И у судьбы одного ты просила —
Как бы пожить мы ещё бы могли...
Вот и глядим, набираемся силы
У окоёма бессмертной земли.*

Казалось бы, какие зримые, согревающие душу приметы совместного земного бытования — и обоюдного, одного на двоих высокого человеческого чувства. И надежда, кажется, — вот она, здесь, рядом: «Вот и глядим, набираемся силы...».

Но — эта закатная пора, эта догоревшая вечерняя радость, это прошедшее время...

И это трогающее сердце холодом напоминовение — «перед видением вечной разлуки». И щемящая незащитность, безутешность просьбы — «как бы пожить мы ещё бы смогли»...

И понимаешь, ощущаешь неназванное, тяжким, как горловой спазм, усилием удерживаемое автором в межстрочье: самое горькое уже случилось.

Да, так оно и есть: и небольшой одноименный цикл, и почти все стихи первого раздела книги — памяти жены. Они разные, эти стихи. Но...

Вот — воспоминание, как негаснущий земной отсвет на тёмной летейской воде.

*Вишню через сито промывала
И рукою смуглой помавала —
Будто бы звала меня в тот вечер
Из далёкой юности — на встречу.*

*Боль горючую превозмогая,
Вишню с дачи моет дорогая —
Сон, как наяву, я вижу снова,
Будто жду я от ушедшей слова.*

Вот — покаяние (и не надо искать подоплёку: поэт — это само по себе вина).

*Кровь в сосудах — не капли чернил.
Крови ведома боль, поверь.
Зол земных, что тебе причинил,
Не исправить, родная, теперь.*

Вот — осознание (и — уж не пророчество ли?).

*Горем моим был застелен
Последний твой путь,*

*Здесь же, на этом пути,
Я узнал свою старость —*

*Мне остаётся теперь
Одиноким прожить как-нибудь
Все предстоящие дни —
Их немного осталось.*

А это — то, что, может быть, и не утишит боль утраты, но поможет выстоять, не сломиться.

*Глубокая ночь вокруг —
На небе и на земле.
Останки твои, мой друг,
Покоятся в вечной мгле.*

*Но верится мне в ночи,
Я вижу почти уже,
Что выдали к свету ключи
Твоей усталой душе.*

Все эти строфы, разные по тональности и степени поэтического совершенства, роднит, выводит за рамки пресловутого «художественного отображения действительности» свойственная высоким образцам русской лирической поэзии исповедальность, предельная, неподвластная суду литературного нарциссизма искренность чувства и глубина переживания. В них нет ни соринки наносного, чуждого. Только — христианское: покаяние, смирение, вера в спасение души. Только — русское: оплакать, и помнить, и идти, клонясь, снежным путём своим, и нести с собой дорогое имя — чтобы не отобрала его, не присвоила жадная темень, таящаяся обочь. Но идти — снова и снова выплывает, маячит перед глазами обмёрзшей тёмной веткой этот вопрос — куда?

*Пусть в прошедшем остались дороги,
Надо жить до последнего дня...*

Надо жить... А это значит — идти к свету, только к нему одному.

Как многолик он, как притягателен, свет поэзии Владимира Макарова! Это и детство, «где после страшной войны//вовсю засияли огни», и городской дом, «где, как новогодняя ёлка, все десять горят этажей», и «Божий Свет», который нужно заслужить всей жизнью.

А разве не исходит свет от каждого шага другого поэта, с трагической и гордой судьбой — Павла Васильева, идущего «по-московски броско» улицами Омска?

*«Дукат» дымится в пальцах нервных,
тонких,
Глаза волшебные огнём горят.*

*Через десятилетия потомки
О нём, как о родном, заговорят.*

*Земля в июле от воды намокла,
И тёплый дождь обрушится вот-вот.
И светятся сиреневые окна
Квартиры, где любовь его живёт.*

Надёжным русским светом веет и от «вершинного шума берёз», и от редкого слова «реко-став», и от «песни с парохода» («Не из села ли Большеречье?»), что звучит где-то там, на родном для поэта Иртыше. А вот и сам Иртыш — и радуга, и гуд, и колокол.

*Не лебедем, не лебедой
Родимого села —
Хвалюсь иртышскою водой
На радуге весла.*

*Под осень лебедь улетит,
Завянет лебеда,
А мой Иртыш гудя гудит
И под кольчугой льда.*

*Качается и бьёт волна
В серебряные льды.
Как колокол, поёт она
На разные лады.*

*Лишь к январю замрёт вода,
Черна, покорена,
Но в феврале почти всегда
Весна уже слышна.*

*Сосульки из-под талых крыши
Мне прозвенят вот-вот,
Что скоро снова мой Иртыш
Оковы разорвёт!*

В строках этих столько силы, надежды, неистребимого русского чувства, что и самому невольно хочется жить вольно и неукротимо — как Иртыш, рвущий тяжкие ледяные оковы.

Хорошо, что завершают книгу стихи о вечном, непреходящем: о «небесных звуках» («Вечная музыка», «Бах», «Вивальди», «Валерий Гаврилин») и о любви. Эти строки — философски-мудрые, элегически-задумчивые, притаённо-нежные, а порой и раскованные, озорные («Похвала Баркову», «Пегас», «Казанова») — плоть и кровь самой жизни, — настоящей, не «пробирочной», не высосанной из пальца.

*Ты теперь далеко-далече,
Ты с другим насовсем, навсегда.
Вспоминаешь ли ты иногда
Наши давние грешные встречи?*

*Так устроен подлунный свет,
Где кусты гнутся долу упруго,
Где греха особого нет,
Что подруга находит друга.*

*И потом, через много лет
Вспоминается давней далью
Этот лунный лимонный свет,
Эти плечи, прикрытые шалью...*

Строки эти — о невозвратном, они тревожно-щемящи, но сколько в них благодарности, неостывшего, неостывающего тепла! С ними никто не будет одинок и на том самом заснеженном ночном поле, которое суждено перейти однажды каждому из нас.

Да, совсем недавно это было: звонок в дверь, бандероль, радость от новой, пусть и заочной, встречи с настоящим, большим русским поэтом и ставшим для меня таким дорогим, сердечно-близким человеком.

Мне столько хотелось сказать Владимиру Александровичу в ответном письме!

Но пишу я — стихи ли, письма, всё одно — трудно, будто ворочаю камни. И пока примери-

вался, подбирал самые верные, самые светлые слова, прошло несколько дней. И в конце одного из этих невыносимо жарких, по макушку залитых жёлтым зноем дней пришла из Омска от Юрия Перминова горькая, тяжкая весть: в ночь с 21 на 22 июля сердце Владимира Александровича, дарившее теплом целую поэтическую вселенную, и в то же время такое беззащитное, ранимое, — перестало, не смогло больше биться.

И снова ощутил я, — через десятилетия после смерти отца, через годы после ухода мамы, — острое, перехватывающее горло чувство сиротства...

Ночью я маялся, задыхался, не мог уснуть. Долго стоял на балконе и всё смотрел, всё всматривался в безоблачное, тёмно-чёрное какое-то, похожее на донскую пойму после недавнего пала небо. И подумалось мне, что если смотреть долго, смотреть пристально и любяще, непременно разглядится там, в безбрежных космических далях-глубинах, пульсирующая жизнью точка-крапинка — звезда русского поэта Владимира Макарова. Только искать её нужно всегда по левую руку, где сердце, в созвездии Света, Добра и Любви...

*Александр Нестругин,
член Союза писателей России,
Воронежская область.
28.07.2010 г.*

По шкале Чехова

07.01.10.

Зашёл к Макарову, поздравил с Рождеством, подарив «зимнюю» картинку типа «*На севере диком...*». Теперь мы соседи. Прочитал мне из своих новых «корабликов» про песню Мокроусова «Одинокая бродит гармонь». Читая, светлел лицом, улыбался. В некоторых местах для убедительности поднимал вверх правую руку с указующим перстом: вот, мол, как — послушайте, посмотрите! Закончив, признался: «Люблю я свои кораблики...». Нельзя не поверить.

Жива... жива в нём музыка, несмотря ни на что. Недаром рядом с книгами портреты *Сергея Василича, Петра Ильича*. Из поэтов — только Есенин, чей поэтический дар так близок песне.

Старинная икона на стене. Не разобрать истёртого лика. Остатки выцветших красок на потемневшем от времени дереве.

В углу комнаты высокие штабеля книг, не вместившихся в книжном шкафу. Судя по виду и количеству — собрание сочинений *яснополянского исполина*.

— *Да, Лев Николаевич здесь у меня... Мы же с ним в один день родились...*

Ответный подарок — малоформатные озорные «Фолизмы» от Вована Омского. Как-то не соответствовали святому празднику эти «стихи не для дам», поэтому и рука остановилась... потому и автограф «Для вечернего чтения...» без даты.

Напоследок всё-таки не удержался — вновь та

же песенка про белого... белую: *я знаю, мы такие разные... ты не куришь, не пьёшь... тут магазин недалеко...* И деньги уже откуда-то в руке. *Вот всё...* Пришлось спасаться бегством от греха...

27.01.10.

Вечером звонок Макарова. Всё тот же громко-голосый речевой сумбур. Терпеливо слушаю. Моё участие в разговоре сводится лишь к подтверждению присутствия: *да, да — я здесь, я слушаю, я слышу*. Ведь должен кто-то выслушать. Так много одиночества вокруг. А он друга потерял.

— *Ты понимаешь, я звоню, а его нет. Сын сказал, что уже два месяца... Подожди... секундочку... сейчас...*

Поминальная пауза, судя по звукам.

Среди всего прочего вспоминает другие события, даты, имена. Да, для него событие первостепенное — 90 лет Феллини. А уж про юбилей Чехова!.. Ну кто ещё позвонит, чтобы напомнить?

Дед Чехова был крепостным, который сумел выкупить себя и свою семью. Удивительно — внук крепостного крестьянина стал в России эталоном интеллигентности и порядочности. Стоило бы ввести единицу измерения этих качеств — 1 Чехов. И принять её за 100 %. Ведь кого ни возьми, по этой чеховской шкале все будут меньше единицы. И редко кто приблизится к высоким процентам. Макаров из немногих...

О. К.

Венок поэту

Татьяна Четверикова

Володе

Все беды России по другу прошли:
Он горькую пьёт, он не ладит с женою,
Не верит начальству
И ранней весною
Тоскует по запаху талой земли.
Он рос на картошке и на лебеде,
Он мог и умел заниматься наукой,
Но вот заразился неверьем и скукой,
Которую видит во всём и везде.
Мотает он русой своею башкой,
Глаза голубые глядят полупьяно,
А те, что всегда и во всём без изъяна,
О нём говорят:
— Некультурный какой!
Культура для них — это руку пожать
С любезной улыбкой любому пройдохе,
Над модною книгою ахи и охи,
Нормально питаться и ровно дышать.
Мне больно и горько от этих речей:
Мол, жизнь прожигает, а жизнь-то одна
лишь...

Мой друг! Так чего же ты ваньку валяешь,
Ведь ты же учёный, поэт, книгочей!
Но всё понапрасну, кричи не кричи,
Как видно, российская лень одолела.
Но как мне встряхнуть это мощное тело,
Коль заперто сердце, пропали ключи.

Юрий Перминов

Владимиру Макарову

Поездка с пересадками — не кара,
поездка через город — ерунда...

Владимир Александрович Макаров —
поэт от Бога — ждёт меня всегда.
Он хлопотливо чаем угощает,
стихи читает — новые, с листа,
чем нашу тягу к водке укрощает
и чем с меня снимает, как с куста,
жучков хандры...
Была б со мной гармошка...

Не знаю, чем тревожит разговор
о том, что на церквушку из окошка
он часто смотрит с некоторых пор...

Мы смотрим вместе (я же не на чай с ним
спешил) — с его шестого этажа...

Без этих встреч с Макаровым —
не частых! —

болеет одиночеством душа,
и — нет вопроса, стало быть: лечить иль
само пройдёт?..
Церквушка..
Облака..
Детсад..
Подъезд..
Шестой этаж..
Учитель..
Небесных птиц заветная строка...

Валентина Останина

Олег Клишин

Шум родных берёз

Памяти В.А. Макарова

Годы не стреножить
И не удержать.
Трут ладони вожжи,
Струнами дрожат.

Юность моя, где ты? —
Только смех вдали,
Свадебные ленты
Ветры унесли.

Ты меня хранила
Омская земля.
Добрую, по силам
Долюшку дала.

В милом Большеречье
Сил моих исток,
В думах вековечных
Шум берёз не смолк.

Стали мне понятны
Песни той права —
Пел отец когда-то
Вещие слова.

Лишь глаза прикрою —
Слышу до сих пор:
«Зарастёт травой
Весь широкий двор».

Что ж вы, кони, стали?
А со всех сторон —
Круг друзей в печали
Да церковный звон.

Я с пути не сбился,
Слухи — не всерьёз,
Просто возвратился
В шум родных берёз.

Три стихотворения

Владимиру Макарову

1

Звонит поэт изрядно во хмелю.
Душа горит. В груди ей места мало.
Ей надо прорычать своё «люблю»
здесь и сейчас, во что бы то ни стало.

Кому? — не важно — хоть кому-нибудь.
Барьеры все, как море — по колено.
Произнести — живой воды глотнуть,
воспрянуть духом, вырваться из плена.

И городу и миру возвестить
о самом главном самым верным словом.
Не то, что дня — минуты не прожить
наедине с трепещущим уловом.

Алло! Ты слышишь? Вот ещё одно...
В надсадном хрипе натиск урагана.
Стихии мощь в открытое окно
врывается. Дрожащая мембрана

вот-вот рассыплется на мелкие куски.
Зато душа вознесена, как знамя,
над суетой всем бедам вопреки,
как музыка, царящая над нами.

10.11.07.

2

Дорожка рассыпанной соли,
остатки какой-то еды,
окуроч, размокший в рассоле
на блюде, как символ беды.
Вздыхай, не вздыхай — не поможет.
Лиолеум липнет к носкам.
Так вот как вершится, о, боже! —
твой суд. Прижимая к вискам
ладони, обиду Иова

баюкаешь в сердце своём.
 Вдовец — несуразное слово.
 Лекарства в гранёный объём
 добавишь ещё капель сорок.
 Одна лишь надежда в душе:
 до встречи совсем уже скоро...
 недолго осталось уже...

12.09.09.

3

У изголовья прочтены стихи,
 которые при жизни адресату
 пришлись по сердцу. Сумрачно тихи
 собравшиеся, словно виноваты

перед виновником, который *был...*
 (нелепость слова разбивает фразу
 на «до» и «после»)... жил, дышал, любил —
 как пеленами смертными повязан

глагольной рифмой. Хвоя и листва —
 от мрачной скорби к мысли

просветлённой
 по-прежнему ведут твои слова.
 Сосновый крест к приземистому клёну

был прислонён, когда среди корней,
 впервые ослеплённых ярким светом,
 ты принял дар из горестных горстей,
 как знак любви, в твоих стихах

воспетой.

31.08.10.

Татьяна Четверикова. Собирая время. Стихи. — Омск, 2009. — 352 с. Тираж 500 экз.

Очень точное название, если учесть, что книга «Избранного» — результат почти сорокалетнего творческого пути известной омской поэтессы. Стихи её давно узнаваемы не только по тому, что принято называть поэтическим мастерством, но, прежде всего, неповторимой интонацией, удивительной чистотой и ясностью звучания, лирической наполненностью строк и строф, на какую бы тему ни откликнулась душа: *«Пишу, как живу, а пора по-иному. / Иная дорога проложена к дому, / Иные тома на рабочем столе, / И время иное уже на земле. / Пишу, как дышу...»*. Пусть «время иное», но свойство настоящей поэзии — быть всегда современной и современной, поскольку чувства человеческие не меняются. Боль и радость, горечь потерь и мгновения счастья, любовь — всё остаётся прежним, неизменным, а потому понятным и близким каждому. И тот, кто берёт в руки книгу, становится полноправным собеседником. К нему доверительно обращаются с самым сокровенным, выстраданным, — с надеждой на понимание и в то же время с поддержкой: *«Пора, мой друг, давно пора / Отдать себя любви, простору. / ...Тоска по счастью так остра, / Что плакать впору»*.

Этот уникальный опыт собирания мгновений жизни, несомненно, будет востребован хотя бы потому, что поэзия, сохраняя связь времён, противостоит беспомысленности, хаосу распада и безответственному желанию разбрасывать камни.

Книга выпущена Министерством культуры Омской области. Автор вступительной статьи Н.А. Ягодинцева.

Иван Петров. Родной истории памятные строки. Избранные очерки, статьи. — Омск, 2009. — 176 с. Тираж 300 экз.

Если звание летописца можно применить к человеку, живущему в наше время, то, безусловно, оно в полной мере относится к Ивану Фёдоровичу Петрову — старейшему не только в Омске, но и в стране писателю-краеведу, публицисту, человеку, который многие годы отдал изучению истории сибирского края. Автор трёх десятков книг, сотен публикаций в различных периодических изданиях, он до настоящего времени продолжает заниматься своим любимым делом — возвращать людям — прежде всего своим землякам — их прошлое, восстанавливать истинный ход событий — то, без чего невозможно представить историю любой деревни, города, края и тем более всей страны.

Книга вышла накануне 90-летнего юбилея писателя, поэтому в ней очень уместным выглядит заключительный раздел, где представлены отзывы читателей, историков, литературоведов, из которых становится ясно, что в разные годы творчество Ивана Петрова соответствовало самым высоким профессиональным критериям и по сей день востребовано и получает заслуженный отклик в читательских сердцах. Издание осуществлено при поддержке Министерства культуры Омской области.

Валентина Ерофеева-Тверская. Весна в ладонях. Стихотворения. — Библиотека международного журнала «ФОРУМ». Москва, 2009. — 142 с. Тираж 1000 экз.

Любовь, весна... Красной нитью на зелёном фоне (цвет обложки соответствует времени года). Два цвета жизни. В судьбе

женщины, поэтессы эта нить сквозная. Но лишь весной в ней, как в живой артерии, особенно ощутим полнокровный упругий пульс обновлённого чувства, которое невозможно утаить: *«В разгуле май, и кровь бушует в жилах. / Смолчу, надеясь тайну уберечь. / Но зелень глаз... В моих ли это силах — / Мне от себя тебя предостереечь?»*. Подзаголовок книги — «Любовный алфавит» — определил не только порядок стихотворений (многие перешли из прошлых книг), но неожиданно и по-новому (возможно, и для автора) открыл, выявил те случайные черты, штрихи, которые в своей совокупности и фиксируют трудноуловимый рисунок человеческой... женской души — ранимой, трепетной, нежной. В известной песне недавнего прошлого в угоду идеологии между любовью и весной вклинился комсомол. Но время расставляет всё на свои места, возвращает традиционные ценности. Третье ключевое слово — счастье. Если заслужишь, если повезёт, то счастье непременно придёт. Но зачастую лишь с опытом и мудростью приходит понимание: *«Чтоб руками коснуться лица дорогого... / Нужно многое выстрадать, много понять, / Что для счастья нам надо ни мало, ни много: / Просто видеть и слышать, при встрече обнять»*.

Приятно, что книга омской поэтессы вышла в московском издательстве. Предисловие написал Владимир Муссалитин. Редактор Геннадий Попов.

Дмитрий Язов. Гуртьевцы. От Омска до Берлина. — Омск, 2010. — 288 с. Тираж 3000 экз.

Имя автора говорит само за себя: Маршал, последний министр обороны Советского Союза — «Дмитрий Тимофеевич Язов — наш земляк, участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Омской области. Его книга повествует о легендарной омской 308-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 году на базе Омского военно-пехотного училища под командованием его начальника полковника Леонтия Николаевича Гуртьева, о великом подвиге сибиряков в тяжелейших боях за Сталинград, ставших коренным переломом в ходе войны. Вместе с тем автор

прослеживает и дальнейший путь 308-й дивизии», — сказано во вступительном слове губернатором Омской области Л.К. Полежаевым.

Альбина Ракова. Омск — столица белой России. — Омск, 2010. — 200 с. Тираж 500 экз.

«Омск — единственный город в Сибири, которому выпала честь, хотя и на короткое время, стать столицей Российского государства. Ложась спать 2 октября 1918 года, омские обыватели не предполагали, что утром следующего дня они проснутся столичными жителями», — пишет автор. Действительно, произошла впечатляющая метаморфоза. История любого города уникальна. Ещё одна книга, посвящённая Омску, лишь подтверждает эту общеизвестную истину. В то же время нельзя поручиться, что даже омичам известны все события и факты, касающиеся конкретного исторического периода, обозначенного в названии книги. Читателю предоставляется отличная возможность удовлетворить свой познавательный интерес. Книга прекрасно иллюстрирована: фотографии, документы того времени. Качество полиграфии, бумаги, оформление вполне соответствует подарочному изданию. Автор послесловия известный историк, краевед А. Лосунов. Книга издана Министерством культуры Омской области.

Владимир Макаров. Под панорамой созвездий ночных. Новые стихи. — Омск: Книжное издательство, 2010. — 128 с. Тираж 350 экз.

Врач по профессии, поэт по жизни. Из профессии уходят на пенсию. Поэзия не отпускает, пока рождаются стихи, пока в душе живёт мелодия, даже если жизнь входит в предельные сроки и даёт всё меньше поводов для радости: *«Одиночеством тянет / За версту от меня, / Но душа не устанет / Жить до крайнего дня»*. Да и эти строки, и вся книга являются лучшим доказательством жизнеспособности поэта, самым существенным признаком жизни. Читая, понимаешь, что, действительно, с высо-

ты возраста, житейского опыта открывается более широкая панорама окружающего мира, виден немалый пройденный путь, уже слегка озарённый тем «неслыханным светом», которого «в помине здесь нет». И не случайно какие-то истины, скрытые за ежедневной будничной суетой, открываются именно в это время, не случайно в некоторых поздних стихах слышится тютчевская нота: «Мы все равны в мирской юдоли, / Для всех грядёт последний час. / Земные радости и боли, / Как океан объемяют нас».

Глубина философского размышления и чистота лирического чувства соединяются в стихах Владимира Макарова, образуя неповторимый поэтический голос, который, несмотря на все житейские беды, остаётся, по сути своей, жизнеутверждающей песней и благодарным признанием: «Нету зла на людей, на судьбу нету зла, / Что положено, то и стряслось. / И душа сохранила остатки тепла — / Благодарность за жизнь, а не злость».

Редактор книги Юрий Перминов. Художник Светлана Гончаренко.

Вероника Шелленберг. Сны на склоне вулкана. Книга стихов. — Серия: «Библиотека омской лирики». — Омск, 2009. — 104 с. Тираж 500 экз.

В самом деле, в поэзии есть много общего со сновидением. Откуда приходят сны? Как появляются стихи? Трудно определить, объяснить. «Чистая лирика — это всего лишь запись наших снов и ощущений», — писала Марина Цветаева. «Всего лишь»! — легко сказать. А ты попробуй привести к словам весь этот неясный, несвязный и стремительный поток ежедневных ощущений-впечатлений, который и составляет течение нашей жизни. Не многим дано. Вероника Шелленберг одна из них. «Это между ударами пульса прыжок затяжной... / Укрупняется мир — до структуры, до божьей коровки... / И... опять с высоты неразборчив, движенья неловки... / Глухота... Слепительный свет... До озноба свежо. / А всего-то лишь — еду к тебе, и автобус трясёт...». «А всего-то»(!) — обычная поездка в общественном транспорте. Но вот «за-

пись», которая, как чуткий сейсмограф, фиксирует малейшие изменения состояния души и даёт нам представление о том, что происходит там — внутри «вулкана». Кстати, этот образ огнедышащей горы, вынесенный в название книги, очень соответствует темпераменту, характеру автора, его поэтической манере: «А дороги перед тобой... Что стоишь, беги! / Обрываются... Вот тебе горный норы! / А дороги рушатся в серебряные рудники / и сплетаются в тёмных звериных норах».

Если данную поэтическую серию уподобить синусоиде, то, безусловно, настоящая книга соответствует одному из её максимумов. Предисловие написал Юрий Беликов.

Владимир Новиков. Постоянство дома. Стихи. — Серия: «Библиотека омской лирики». — Омск, 2010. — 104 с. Тираж 500 экз.

Десятая книга в этой серии. Случайно или нет, но этот *прицельный* номер достался Владимиру Новикову — писателю, поэту, чей продолжительный творческий и жизненный путь неразрывно связан с омской землёй, с родным краем, где «Детства отеческий дом / В дальней сибирской деревне / Мне повествует о том, / Как вырастают деревья» и «В снежном краю деревенском окраинном / Дом засыпает вместе с хозяином». Действительно, *ощущенье дома* — то чувство, без которого нельзя представить поэтический мир Владимира Новикова. Оно вмещает в себя многое — память о детстве, о светлых минутах общения с самыми родными людьми — мамой, отцом, бабушкой; воспоминания о школе, о знакомых людях, о друзьях-поэтах, с которыми так много пришлось пережить и с кем, увы, всё чаще приходится вести диалог в стихах, посвящённых памяти... Николай Разумов, Тимофей Белозёров — дорогие сердцу имена. И совсем не случайно, в конце концов, даже сам дом представляется автору одушевлённым существом, способным на вполне человеческие переживания: «Меня с постели гонит дума: / Тоскует, видимо, по мне? / Стеной к стене стоит угрюмо, / И слёзы катятся в окне!..». Уверен, что в подлин-

ности этого и других чувств у читателя книги не будет повода сомневаться.

«Любите живопись, поэты...» В оформлении обложки использована картина самого автора, который, можно сказать, в буквальном смысле последовал совету старшего собрата, показав ещё одну грань своего таланта.

Вступительная статья Татьяны Четвериковой.

Валентина Ерофеева-Тверская. Ожидание чуда. Стихи для семейного чтения. — Екатеринбург: Издательство АСПУр, 2010. — 74 с. Тираж 1000 экз.

Прекрасное оформление книги удивительно соответствует названию: на первой странице обложки сказочный котфей, сотканный из морозного пара, чьи лучистые глаза, как две звёздочки ночного неба, мерцают среди тишины зимней ночи. Ожидание... И другие рисунки Дарьи и Владимира Чупилко с такой же гармонией соединяются с текстом. «Для младшеньких» — подзаголовок к названию первого раздела не только ориентирует на возраст читателя, но и, без сомнения, выдаёт те чувства, которые испытывает поэтесса ко всем маленьким детям, а молодая бабушка к своему внуку. Ведь именно он, судя по посвящению к первому стихотворению, наверняка будет одним из первых слушателей этой книги. Лёгкость, яркость, простота — обязательные качества детских стихов. Не каждому поэту эта «простота» по плечу. Для творчества Валентины Ерофеевой она естественна. Поэтому есть уверенность, что настоящая книжка будет с увлечением перечитываться в тёплом семейном кругу и станет хорошим подарком не только для самых маленьких, но и для читателей постарше.

Сергей Прокопьев. Сага о цензоре. Повести и рассказы. — Омск: Издательство ОмГПУ, — 2010. — 420 с. Тираж 500 экз.

Заинтересованное отношение к окружающему миру, к людям, которые живут рядом, для писателя гораздо важнее внимания к собственной персоне. Этот «секрет» про-

фессии Сергей Прокопьев открыл давно. Хотя не исключаю, что вообще это качество врождённое. Как бы там ни было, но именно благодаря такому отношению любое произведение, будь то рассказ или повесть, становится живой картиной жизни, удивительно узнаваемой в многочисленных подробностях и в то же время, словно увиденной впервые. В новой книге намеренно подчёркнут «профессиональный» принцип: «Сага о цензоре», «Сага о таксисте» — две повести. В самом деле, что как не профессия накладывает отпечаток на человека, во многом определяя его мировоззрение, жизненный путь. Грех не воспользоваться. Сергей Прокопьев делает это мастерски, увлекая читателя не столько яркими событиями, захватывающим сюжетом, но прежде всего неповторимостью характеров и судеб своих, на первый взгляд, ничем не примечательных персонажей, сквозь обыденность существования которых, действительно, проступают черты эпоса, сказания.

Григорий Глушнёв. Нерастраченное тепло. Стихи. — Омск. Издательский Дом «Лео». 2010, — 52 с. Тираж 500 экз.

Первая книга молодого поэта — это как первый шаг, часто не очень уверенный, но для автора всегда волнующий. Как встретят, что скажут первые читатели? Случаются разочарования. Но, думается, что Григорию Глушнёву это не грозит, кажется, что он умеет трезво и по-мужски сдержанно оценивать собственные силы. «*О природе писать не умею, / А вернее сказать, не хочу. / Я в жару земляникой поспею / И осенней вороной взлечу...*». Тем не менее его творческая органичность сродни природной. И тепло его стихов естественное, как тепло солнечного луча — о нём часто забываешь (ведь ни холодно, ни жарко), но без него в ненастный день вдруг становится неуютно и грустно: «*Ветер гонит лёгкую листву / Вперемешку с пасмурной погодой, / А в душе я радуюсь родству / И с живой, и с неживой природой*». Предваряет стихи... нет, не предисловие, а скорее доброе напутственное слово Юрия Перминова своему младшему коллеге по поэтическому цеху. Редактор книги Татьяна Четверикова.

Борис Шулинин. Тобольский разлом России. Исторический роман. — Омск, 2010. — 508 с. Тираж 100 экз.

Автор давно известен своими предыдущими книгами «Зона милосердия», «Омский Армагеддон», «Аппассионата любви», «Проклятье Гименея», в которых на примере человеческих судеб затрагиваются очень болезненные для современного общества темы — социальной неустроенности, криминализации подрастающего поколения, житейского неблагополучия простых людей. Показано, что единственный выход из этого тупика — любовь и сочувствие к ближнему. На этот раз автор обратился к истории. Широкая панорама событий российской жизни смещена ближе к географическому центру страны — в Сибирь, в Тобольскую губернию, тем самым ещё раз подчёркивается значение этого края в становлении и развитии Российского государства. Книга — не сухой документальный отчёт, не просто набор исторических фактов, но занимательное повествование, где, наряду с хорошо известными деятелями (Александр I, Наполеон, Кутузов, Сперанский и др.), действуют люди, имена которых знает далеко не каждый, но их дела на благо Отечества заслуживают доброй памяти потомков. «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости» (Пушкин). И ещё... В наше время никого не удивишь изданием книг за свой счёт, но всё-таки хочется отметить в этом плане самоотверженность автора, решившегося на свои кровные выпустить столь объёмный труд. Уверен, что книга не пропадёт, не затеряется, несмотря на скромный тираж. В каком-то смысле всё окупается, если сделано от чистого сердца, с любовью к людям и к родной земле.

Елена Колесниченко. Тёплые сны зимы. Стихотворения. — Омск: Издательство «Сфера», 2010. — 80 с. Тираж 500 экз.

Вначале несколько настораживают некоторые пассажи из редакторского предисловия: *«Не знаю, какой солнечный зайчик потоптался на макушке этой девочки, но светло “наследил” — это точно»*. Или: *«Быть поэтом непросто, это всегда публично оголять свою душу, которая призвана быть призмой для всего, что нас окружает»*. Но автор за редактора не отвечает. К счастью, с девочкой всё в порядке: пишет, действительно, хорошие стихи о своём, о девичьем — о первых чувствах, о близких людях, о родной сельской природе: *«Наутро первый пряный холодок / В неясное стекло оденет рощу, / И твой портрет, как высохший цветок, / Среди страниц я вновь найду на ощупь...»*. Импронирует интонация — ровная, негромкая с налётом лёгкой грусти, не мешающая вдумчиво переживать собственные ощущения и зорко видеть всё, что происходит в окружающем мире. *«И сквер, как ресторанный плоский стол, / Всем алчущим готов продать блаженство. / И вилочки бегут от птичьих ног / И рюмочки — от быстрых ножек женских»*. Просто прелесть этот «столовый набор», эти «вилочки» и «рюмочки» на белоснежной скатерти первого снега. Далеко не каждый сумеет так увидеть, а тем более сказать... *«Но, боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство!»* — эти слова Даниила Хармса юная поэтесса подтверждает поистине с женским изяществом и естественностью, присущей настоящему таланту. Первая книга — несомненная удача Елены Колесниченко.

О.К.